

ВЛАДИМИР НОВАК, ФЕДОР  
НОВАК

# ЖИЗНЬ В ЦАРИЦЫНЕ И САБЕЛЬНЫЙ УДАР

**Федор Владимирович Новак**  
**Владимир Емельянович Новак**  
**Жизнь в Царицыне**  
**и сабельный удар**

*Публикуется с любезного разрешения автора*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=10697529](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10697529)*

*Жизнь в Царицыне и сабельный удар: ООО «Остеон-Пресс»; Ногинск;*

*2015*

*ISBN 978-5-85689-030-2*

### **Аннотация**

Роман «Жизнь в Царицыне и сабельный удар» рассказывает о временах, заката царской власти в России, революции и последовавшей за ней гражданской войне. На примере одного города Российской Империи автор стремится передать дух того неоднозначного и трудного времени.

Тяжесть жизни крестьян и рабочих, хитрости и интриги промышленников и купцов, искреннее благородство одних людей и подлая алчность других – вот что разворачивает перед взором читателя Владимир Новак, которому самому довелось жить в ту эпоху.

Роман способен одновременно и смешить, и интриговать, и трогать, и даже поучать. Автор тонко прорисовывает души своих героев, от подленьких натур, до сильных духом личностей. Одни

его герои показывают чудеса хитрости и коммерческой смекалки. Другие – простую широту души, которой просто хочется жить обычным семейным теплом. А третьи горят ярким неугасимым огнём, жаждущим перемен, перемен для всех вокруг. И не всегда герои романа могут найти общий язык между собой, а порой по собственной глупости попадают в неприятности.

Но нету в героях и событиях произведения какой-то рубящей с плеча однозначности. Ведь даже в душе миллионера Лужнина, всё меряющего аршином денег и прибыли, нет-нет, да промелькнут благородные нотки. А бесхитростная душа Бориса, после ряда ошибок, показала подлинный огонь лидера и революционера, не теряющего при этом головы. А уж какие лицедейские перевоплощения он устраивал, скрываясь от царской охранки – это вообще отдельная история.

Данная книга, написанная ещё в 1975 году, увидела свет только сейчас, когда её автора уже давно нету в живых. Владимир Новак едва успел дописать последние главы, завещав своему сыну однажды издать книгу, когда такое станет возможным:

–«Оставляю тебе роман...придёт время и все будут читать его во всех издательствах и городах...»

И Фёдор Владимирович, так же приложивший свою редакторскую руку к роману, выполнил пожелание отца. Теперь каждый желающий может приобрести этот исторический роман в электронном виде.

# Содержание

Об авторе	6
Жизнь в Царицыне и сабельный удар	8
Конец ознакомительного фрагмента.	161

**Владимир Новак,  
Фёдор Новак  
Жизнь в Царицыне  
и сабельный удар**

Все права на электронную версию книги и её распространение принадлежат Интернет-издательству Сканбук и автору – Новак Фёдору. Никто не имеет право каким-либо образом распространять или копировать этот файл или его содержимое без разрешения правообладателя и автора.

## Об авторе

Новак Владимир Емельянович, годы жизни 1898–1976 гг. До революции 1917 г. Владимир Емельянович жил в Царицыне с семьёй. В сложные, для страны, годы воевал в составе Красной Армии. Позже он работал в Советской милиции. Но творчество тоже занимало большое место в жизни Владимира Новака. Работая в Союзе писателей, он много общался с творческими людьми. А в 1960 г. опубликовал и свою собственную повесть «На старой Волге». Кроме этого регулярно публиковались и его рассказы. Но многое из написанного автором осталось неопубликованным.

Например, перу Владимира Емельяновича принадлежит повесть про Сталинград, которую он так и не опубликовал. А с 1965 по 1975 гг. Новак писал художественный исторический роман о своём родном городе Царицын и о временах начала 20 века. Закончив его основу, Владимир Емельянович не смог опубликовать роман, но завещал это сделать своему сыну Фёдору Владимировичу.

– Помню его слова: – «Оставляю тебе роман. Придёт время, и все будут читать его во всех издательствах и городах» – рассказывает Фёдор Новак. – Прошло уже почти 40 лет с той поры, и теперь, я надеюсь, мечта моего отца сбудется. Я редактировал и сокращал книгу, дописывал некоторые эпизоды и сцены для улучшения прочтения в сегодняшнее время.

Вот так и появился роман под названием «Жизнь в Царицыне и сабельный удар».

Фёдор Владимирович Новак родился в Волгограде, в 1960 г. Уже почти 30 лет он работает в органах безопасности РЖД. Имеет любящую супругу и двоих детей. Стремиться вести здоровый образ жизни и интересуется соответствующей литературой. Очень рад тому, что недалеко от того места, где он проживает, есть уникальный родник с целебной водой, способной лечить любые болезни. Воду из него Фёдор Владимирович набирает регулярно.

Связаться с автором можно по электронной почте: E-mail: [f.nowak@yandex.ru](mailto:f.nowak@yandex.ru)

# Жизнь в Царицыне и сабельный удар

Будто из красной меди отлит был, а не из кирпича выложен в Царицыне на Волге двухэтажный угловой дом. Просторный балкон этого дома навис и над Анастасийской улицей, и над Александровской площадью, навис словно капитанский мостик невиданного еще доселе на Волге корабля, готового выйти из гавани, из тесноты жмущихся к нему мелких суденышек, чтобы повести их за собой под флагманским вымпелом: «Торговый Дом Ф. С. Лужнин и Сын».

Да, мелкое купечество зависело от миллионера – Лужнина Федора Силыча, председателя правления Купеческого банка.

На чугунной, литой в замысловатый узор решетке балкона с той поры, как Лужнины стали владельцами пассажирских и буксирных пароходов, укрепили голубой якорь, а на крыше «медного» дома воздвигли остекленную надстройку, поставили шпиль, как стрелу, направленную в небо, с трепетно выющим на ветру трехцветным царским флагом.

Федор Силыч Лужнин, когда ему сказали однажды, что шелк флага не надо бы изнашивать в будни, ответил:

– Пока на Руси царствует дом Романовых – мне каждый день праздник! А дому Романовых скоро триста лет. Три-

ста! – даже воскликнул Силыч. – Жить только мне осталось мало.

Косо взглянув на собеседника и отвернувшись от него, миллионер Лужнин сказал тут же своему сыну Глебу, что вот, мол, всякая мелюзга, купчишки третьего разряда, последней гильдии, торгующие рыболовными снастями, подныривают с подсказками.

– Хе! А?

Глеб, согласившись, кивнул отцу, склоняясь над конторскими книгами. Он вообще не тратил попусту свое свободное время, изучал отцовские хитрости-мудрости ведения коммерческих и судоходных дел. Ведь каждый день оборачивался к заходу солнца тысячью рублями дохода.

На вывесках, подвешенных вертикально и горизонтально, на стенах и дверях магазинов, принадлежащих Лужниным, можно было прочесть, что тут продают в неограниченном количестве и выборе колониальные товары. Помимо всяких других – бакалейных, гастрономических. Иногда даже бананы и турецкие рожки были в продаже. Во вместительных подвалах иной раз и не повернуться, а потому ящики, тюки, кадки и бочки-бочоночки ярусами возвышались под навесами во дворе. На ящиках и тюках пестрели разноцветные клейма иностранных торговых фирм. Преобладали клейма английские, французские, турецкие.

А вот и умер Федор Силыч. Священники усердно закалили над гробом пахучим иерусалимским ладаном, упрашивая

Господа Бога пристроить Силыча в раю.

Глеб, наследник фирмы, выглядел неунывающим.

Кабинет наследника миллионного состояния ничем не обновился после смерти наследодателя. Не потому, конечно, что Глеб Лужнин хотел сохранить прежний вид кабинета и помнить отца, а просто от недостатка времени подумать еще и об этом.

Старинная обстановка, тяжелые зеленые шторы в кабинете миллионера действовали удручающе на Чекишева Аркадия Юрьевича, представшего перед Глебом Лужниным.

А предстал он тут, прежде побывав у адвоката Иванова, в особняк которого явился неожиданно из Баку, где искал счастье, да не нашел. Не нашел? Да. Но надежд не терял, хотя, как Аркадий сам говорил, «каблуки стоптаны, в подошвах сапог «скважины». Он узнал, что на Биб-Эйбате – нефть! Миллионы рублей прибыли! Нефти много – тысячи пудов, эти тысячи пудов просятся на поверхность. Но где взять денег, чтобы начать промысловую добычу нефти? «Где денег достать? Где? – почти кричал себе Аркадий Чекишев, – если ни кола ни двора! Если отец разорился в Царицыне, а после смерти отца даже родственников не оказалось?!». Словом, Аркадий в тот час оказался перед самим собой – босяком с дипломом инженера горной промышленности.

Ну а чем был занят его дружок юности Иванов? Вместе они окончили в Петербурге университет. Расстались целу-

ясь. Чекишев махнул в Баку, а Иванов вернулся в Царицын.

– Не повезло мне в Баку, – рассказывал Чекишев дружку. – Хозяин нефтеносного участка оказался дураком. Банк под залоговые взял участок у этого перса... А у тебя дела идут? Адвокат! Медная дощечка на парадных дверях... Завидуют многие...

Иванову тут и захотелось блеснуть своим благополучием. Пошел он показывать Чекишеву ковры в кабинете, в гостиной. Хрусталь и серебро в столовой. Рысака, наконец, орловской породы. А конюшня у адвоката была что танцевальный зал.

Смотрел Чекишев и удивлялся быстрому обогащению друга. Все казалось загадкой. Ведь и отец его разорился... И вдруг?

Именно вдруг. Адвокат Иванов принял поручение выступить на судебном процессе в станице Усть-Медведицкой. Судились иногородние из-за земли с донскими казаками. Там Иванов сблизился с казачьим офицером, а тот и сосватал адвоката:

– Красоты тебе, – сказал есаул, – не искать у невесты... Ты в кошелек к ней загляни... Там тысячи приданого!

Невеста оказалась девицей уже в годах, дочерью хлеботорговца, владельца паровых мельниц на берегах Дона, пароходовладельца. Хоть отец у нее и происходил из казаков, а почему-то окрестил свою дочку не по-русски – Изабеллой. Говорят, что все это от того, что отец мал-мал читал по-фран-

цузски.

Отдыхала Изабелла каждое лето в дворянской станице на Дону – в Усть-Медведицкой, куда на летний сезон приезжали всем театром артисты. В один из вечеров после спектакля на сцене появился станичный священник со своими прислужниками. Так в театре и состоялась свадьба-венчание. По древнему обычаю всю посуду из-под вина били вдребезги.

На третий день после свадьбы Изабелла сказала Иванову: – Я хочу, чтобы ты блистал в Царицыне. Едем туда немедленно!

В Царицыне они остановились в гостинице «Столичные номера», заняв трехкомнатный номер. Из окон была видна Александровская площадь, «медный» дом миллионера Лужнина, остекленная башенка с развевающимся над ней трехцветным царским флагом. Все, казалось, было очень давним в Царицыне. И очень прочным. Словом, таким устойчивым, что никому и никогда не стронуть с места.

«Если сегодня хорошо, – сказал себе тогда адвокат Иванов, – то завтра будет еще лучше. Пора поторапливаться, располагая сотней тысяч рублей, а там, гляди, Изабелла у папаши и еще выпросит. О, Господи! Как хорошо на свете жить, сладко пообедавши! Да, надо поторапливаться...»

Адвокат решил на покупку приличного особняка. Ма-стакон в таких делах был подрядчик и маклер, весьма известный в Царицыне, Николай Баяров, с которым Иванов и встретился в его доме, сказав:

– Мне известно, как объегорили моего отца. Но я без претензий. Мир на том и стоит – кто кого! Вы ведь работаете на Лужнина... Знаю. Только тронь вас, как он ввяжется. А известно: с богатым – не судись, с сильным – не борись.

– Моей вины в разорении вашего отца ничуть, – увертывался Баяров.

– Деньги, – усмехнулся Иванов, сверкая стеклами пенсне, – деньги всегда деньги. А сейчас, пожалуйста, скажите мне, кто пошел ко дну? У кого особняк в продаже. Дорогой себе взял бы. Куплю! – чуть ли не выкрикнул слово «куплю» адвокат.

Баяров, отхлебывая из чашечки кофе, вдруг поперхнулся, услышав такое. Но тут же, откашливаясь, ответил:

– Для вас, господин адвокат, все будет!

Иванов вглядывался в лицо Баярова, до удивительного миловидное. Ну совсем бы ангельское личико, если бы не усы, дьявольски черные и такие остренькие на кончиках.

«Вот он какой дядя, – думал Иванов, – объегорил моего папашу! Но крест на это все! Копотни много».

Дней через пять, когда особняк был куплен и обставлен, Иванов зачастил к Баярову на собственном рысаке орловской породы. Баяров, зная за собой вину, встречал Иванова добрыми угощениями, все думая: «Не докарабкался бы адвокат до сути дела. Сохрани и помилуй Господь Бог от судебного разбирательства...»

Баяров все пугал и пугал себя. А ведь каким был, каза-

лось, бесстрашным пройдохой в коммерческих делах-вывертах-выкрутасах! «А вдруг, – думал он, – придется возвращать тысячи чистеньким золотом?! Ужас! Хоть в петлю! Боже милостивый, ну что тебе стоит сохранить меня?» – молился Николай в божьем храме, отваливая за восковую свечу рубль, выставив ее перед иконой Чудотворца. И радовался тому, что адвоката более всего интересовала интимная жизнь купцов, промышленников Царицына, их денежные дела.

Иванов потом нередко вспоминал свои ночные встречи в доме Баярова, любителя пива: бутылку за бутылкой откупоривал он сам, поспешно опорожняя от бутылок две корзины, доставленные из подвалов пивоваренного завода Клейнау.

«Как хорошо и как кстати было, – говорил потом себе адвокат, – что пиво развязывало язык Николаю».

Да, Иванов узнал немало полезного в самом начале своей адвокатской деятельности в Царицыне.

Баярову ведь потребовался не один год, чтобы стать самым осведомленным во всем городе, узнать, кто, когда и как разбогател, а затем продолжал обогащаться; какие у кого привычки в пятидесяти двух богатых домах; какая у кого хватка; кто поумнее, а кто бывает часом глуп и расточителен; кто увлекается охотой, кто рысистыми бегами, женщинами, картами, а кто и вином. Иванову эти знания достались по дешевке.

Словом, во всем осведомленный Иванов и навел Аркадия

Чекишева на мысль посетить миллионера Лужнина, предупреждая, однако, что Глеб Лужнин умен, образован, и если его дед когда-то пришел в Царицын обутый в лапти, то внук щеголяет в лакированных полуботинках, а в общественных местах появляется во фраке. Изъясняется и на французском, выписывая из Парижа последние литературные новинки. Он не то что прежние купцы на Волге – рубашка нараспашку. Этот не устроит пьянку на пароходе.

– Но ведь и умники, – продолжал Иванов, – бывают минутами глупее самых тупейших. Вот в такую бы минуту тебе и явиться к миллионеру...

Чекишев сидел на диване, поджимая ноги в поношенных сапогах, а Иванов расхаживал по гостиной, ступая шевровыми ботинками на мягкий пушистый ковер, сменяя вытканые цветы, и продолжал поучать, что если Лужнин, этот молодой, но уже жирный сом, не клюнет на нефтяную удочку, то посоветует побывать у миллионера Воронина. Этот, мол, осетр менее поворотлив, все занят маслоделием, у него под Царицыном пятьдесят тысяч десятин собственной земли, засеянной горчицей.

– Во все западные страны Воронин гонит вагонами горчичное масло! Богатеет! – покручивал головой Иванов, упомянув еще одного маслозаводчика Миллера, куда беднее Воронина и все занятого постройками. То комфортабельную гостиницу «Люкс» воздвиг на улице Гоголя, то кинематограф «Парнас», удивив всех тем, что в этом трехэтажном те-

атре ни лестниц, ни ступенек. Входишь и поднимаешься, как по горной тропинке. Одно это привлекало в кинематограф. Поначалу, конечно.

Словом, адвокат задарма поведал своему другу юности все секреты Царицына, пожелав Чекишеву удачи, предупредив, что если Аркашке надо будет пойти к Миллеру или Воронину, таким щепетильным к костюму посетителя, то Чекишев может пользоваться гардеробом адвоката, обряжаясь утром в светло-серый костюм, в обед – в коричневый костюм, а вечером – в черный фрак:

– Не с чужого плеча, Аркашка, приоденешься, лишь бы выиграть «битву» с миллионерами. Лужнин же, запомни, принимает посетителей не по одежке... Хитряк! Но... признайся мне, в самом ли деле на Биб-Эйбате нефть?!

Чекишев поклялся.

– Молодец, Аркашка! – воскликнул адвокат. – В самом голосе у тебя звенит будущее золото... А слух у миллионера Лужнина, как у Чайковского. Кому что: кому музыкальность мелодии, а кому музыкальность золота. Золотишко у тебя зазвенит в твоих карманах! – И размашистым жестом приказал горничной, девушке в беленьком фартуке, прибежавшей на звонок: – Пускай кучер запрягает! Подать экипаж к парадному крыльцу! – и обернулся к Чекишеву: – Я отлучусь на четыре часа. Пошлю телеграмму Изабелле в Саратов. Она поехала навестить моего отца, управляющего мельницей у своего дяди. На часок заверну рысака в Волжско-Камский

коммерческий банк.

Уже в дверях адвокат сказал Чекишеву:

– К обеду я вернусь. Еще поговорим. Расскажу тебе, как отец Глеба приобрел пароходы. Это ж артист! Среди банковских дельцов воротилой был. А Глеб, запомни, с шести утра уже на беговых дрожках летом, в санках – зимой. Он сам правит рысаком, объезжая все свои владения. Словом, к нему тебе надо будет завтра отправиться ровно в половине седьмого утра. Ты его встретишь, когда еще ему никто не надоел. Итак, я всю подноготную поведаю тебе...

Из широкого окна, сделанного на итальянский манер, в особняке адвоката ранним утром Чекишев глядел на Заволжье. Солнце еще не поднялось над разнолесьем у хуторов Букатин и Бобыли, но отсвет лучей, где-то еще блуждающих вдалеке, чувствовался: заблестели зеленью верхушки высоких восьми тополей, близко от воды затона.

Скучным показалось утро в особняке адвоката. Чекишеву захотелось на улицу.

Царицын просыпался. Разгуделись лесопильные заводы, а над их визгливым призывом к работе прогудел басовито, хрипло, будто простуженный, но мощный гудок металлургического завода. Далеко был он слышен, требующий рабочих к мартеновским печам. Замельтешили дворники с метлами около особняков, суетливым шажком побежали на базары горожане, с мешками на плечах, с узлами.

С пустынной в тот час Александровской площади вдруг

вымахнул, будто хвалясь стройными ногами, орловский рысак, серый в яблоках. Да, крепко держал в руках вожжи Глеб Лужнин. Он уже побывал на своих заводах, фабриках, на паровой пристани, всюду встречая низкие поклоны всех, кто получал из рук кассира Лужнина кто сколько. Каждому из них желательно было оказаться отмеченным наградами из рук миллионера. А Глеб знал, кому и сколько наградных к Рождеству Христову выдать. Купец знал, кого и за сколько купить.

– Куда не князь Нижнего Поволжья! – подумал Чекишев, с завистью поглядывая, как беговые дрожки миллионера подкатили к подъезду конторы. Конюх взял рысака под уздцы. Дворник поклонился хозяину в пояс, касаясь рукой земли.

Подсказка адвоката помогла Чекишеву. Он знал, какими коридорами пройти в кабинет Лужнина.

Смуглый красавец, щедро опаленный солнцем на Биб-Эйбате, Аркадий Чекишев вошел в кабинет Глеба, как бы забыв о вежливости. Он не стал робко стучаться в дверь костяшками пальцев. Открыл дверь рывком и вошел.

Одет он был в поношенную студенческую тужурку с блеклыми вензелями на плечах. Но зато начищенные пуговицы сверкали куда ярче, чем золото.

Хоть и было слышно миллионеру, как открылась дверь, как она закрылась, как движением воздуха шевельнуло шелк волос на голове, но Глеб, как стоял у дверей балкона, огля-

дывая Александровскую площадь, так и остался стоять.

Остановился и Чекишев, шагнув только два раза по ковру, словно соразмеряя силы: свои и хозяина дома.

Но вот Глеб Лужнин разом вынул руки из карманов брюк и резко повернулся, слыша чье-то учащенное дыхание за своей спиной. Увидев незнакомца, Лужнин не двинулся с места, прислонясь спиной к балконной двери. А за ее стеклами лучи солнца сверкали на зеркальных крестах Александр-Невского собора, на колокольню которого Лужнин, помня завет своего отца, велел поднять медные большие литые и малые колокола. Зеркальные же кресты были личным даром. Каждое утро Глеб любовался крестами, произнося при этом: «Господи, благослови меня и на сей день...»

И Господь благословил Глеба Лужнина. Перед ним предстал Аркадий Чекишев, инженер, конечно же зная, что Глеб Лужнин будет если не ошарашен, то, разумеется, удивлен столь ранним визитом. Так и было. Лужнин, малость напуганный, молчал. Наконец-то он спросил Чекишева:

– Как это вы, во-первых, проникли ко мне? Во-вторых, почему же без револьвера и не шепчете «Руки вверх!»? А в общем, собственно, что угодно вам от меня?! В такой ранний час?!

Лужнин вынул из кармана пиджака браунинг и положил на зеленое сукно письменного стола. Улыбнулся еще раз при этом и подмигнул, будто хотел сказать, что его голыми руками не взять!

– Кто рано встает, Глеб Федорович, – ответил Чекишев, – тому и сам Господь Бог подает... Я пока что у Господа Бога в нищих хожу... Дело у меня к вам такое, что только на свежую голову окажется абсолютно ясным.

– Кхм! Так, так. Вы предстаєте, значит, предо мной, имея лишь собственное мнение о самом себе как о деловом человеке. Но позвольте, сомневаюсь я...

– А вы, Глеб Федорович, не спешили бы сомневаться! Это – во-первых, а во-вторых – главное, – грубо продолжал Чекишев, понимая, что канареечно поют миллионеру всяк и каждый. – Хорошо, что я к вам пришел, когда рассветает! Отлично, что вы уже не спите! Не спится вам отчего? Миллионы у вас. А мне не спится от того, что и я хочу обладать миллионами! Делаю вам, Глеб Федорович, предложение: увеличить ваш капитал за один только год нашей с вами совместной деятельности на четыре миллиона рублей, а затем...

Белый крутой лоб Глеба, хоть и молодой, выказал сразу же пять будущих продольных морщинок и две поперечные меж бровей. Но вот черные глаза его весело заблестели:

– Исключительное представление. Премьера! – воскликнул Глеб. – Ну а дальше?

Чекишев продолжал доказывать:

– Прибыльное дело – купить участок на Биб-Эйбате и качать нефть!

На этот раз Глеб не изрек своей любимой фразы, что он не Петр Первый и что шуты ему не нужны, что у него не

императорский дворец, а торговая фирма.

У Глеба были красиво очерченные губы, отцовские черные глаза, но зубы – удивительные!!! Такие крупные и удлиненные, они из-под верхней губы при улыбке всегда нависали над нижней губой, заслоняя ее, стоило только Глебу чуть улыбнуться. Какая-то хищная, плохая улыбка получалась. Глеб это знал и старался меньше улыбаться. Особенно гимназистке Аде, которая не оставляла его в покое, все добиваясь встречи, чтобы только оказаться рядом с карманом миллионера.

Глеб зажмурился, подумал над предложением Чекишева купить нефтеносный участок на Биб-Эйбате.

– Ближе к делу, – продолжал Чекишев. – Что вы потеряете? Ничего! А израсходуете-то пятьдесят тысяч – против четырех миллионов.

– Но ведь, – усмехнулся Глеб, – тут пахнет аферой?

– Бог мой! Афера?! Это же такая дамочка, с которой в обнимку спал ваш отец! Афера и помогла ему стать обладателем пяти пассажирских и четырех буксирных пароходов! Ну, по рукам?! – Чекишев улыбнулся и потер ладонь об ладонь.

Появление Чекишева в доме Глеба сулило не только наживу, но и развлечение: в скучной деловой жизни миллионера Чекишев давал «премьеру», в постановке которой Лужнин являлся режиссером, одухотворенным по-новому: поиздеваться над купцами-промышленниками. Глебу этого давным-давно хотелось. Получится не получится – видно будет.

Стоит-то все это представление всего лишь несколько тысяч рублей... А впрочем... Гениальное всегда бывает простым.

– Теперь... теперь о главном... – продолжал Чекишев. – Не думаете ли вы, что я буду доволен задатком?!

– А я знал наперед, что дай тебе палец, ты захочешь оттяпать всю руку!

– Без шуточек, Глеб Федорович! Вам за один год – миллионы добычи, а мне? Вам – вся рыба богатого улова, а мне – на борту шаланды чешуя?! Вы владелец нефтепромысла, а я? Где гарантия, что вы не вздумаете пригласить другого инженера? А меня, – при этом Чекишев лягнул ногой, как бы выталкивая кого-то за дверь. – Разрешите представиться, как подобает... – и протянул руку: – Я Чекишев Аркадий Юрьевич, горной промышленности инженер. Родился и вырос в Царицыне. Сын торговца рыболовными принадлежностями, торговца прогоревшего, обанкротившегося, к сожалению. И хоронить его не довелось. Но отец все же дал мне университетское образование в Санкт-Петербурге...

– Вот как! – воскликнул Глеб Лужнин. – Сожалею, что твой папаша не дожил до этого дня! – и, не вставая из-за стола, протянул свою длинную руку. – Да, твой папаша, – продолжал Глеб, – порадовался бы деловой хватке сына! То, что ты требуешь больше ожидаемого, убедило меня в будущих доходах. Но потуши папиросу, не дыми тут.

Чекишев поспешно затушил папиросу. И произнес:

– Вы тут, в Царицыне, пообещайте купчикам за сто тысяч

полтора года! Они на такую приманку набросятся, как рыбешка на пшеничную кашу... Клынут! Лови только! Успевай! А на Биб-Эйбате один я знаю, как начать добычу нефти. Начну, а тогда и без меня можно продолжать. Возвращаюсь в нашем деловом разговоре к вопросу о гарантии. Прошу вексель на двести тысяч рублей. Вексель мне вы даете с оговоркой, что деньги выплачиваются предъявителю векселя. А именно? Кто предъявит, тот и получит, но... из доходов нефтестроения! Чем вы рискуете?

– В таком случае – ничем. Ну а дальше?

Лужнину не совсем удобно было сидеть на подлокотнике кресла, но, увлекшись идеей Чекишева, он улыбался, то вставая с подлокотника, то опять усаживаясь. Лужнин, хоть и думал, что Чекишев не будет чист на руку, все же понимал, что в делах Торгового дома Лужнина – уж и без Федора Силыча – как бывало, так и теперь не обойтись без подобных Чекишеву. В скучной, хоть и деловой жизни Глеба появление Чекишева сулило не только развлечение, а еще и наживу.

– Почему я должен верить тебе, – усомнился Глеб, – верить, что на Биб-Эйбате нефть, а не просто пески продаются? У нас тут, в Царицыне, однажды объявился проходимец, который песчаную косу острова Голодного хотел приобрести в собственность, приглашая денежных людей в компанию... Будто на том песке... золото! Если, мол, знать, откуда начать раскопки. Мы сразу мерзавца разгадали...

– Значит, если разгадали мерзавца, – усмехнулся Чеки-

шев, – было что разгадывать. Однако я себя не отношу к лику таких «святых мерзавцев», коль не загадываю, а предлагаю нефть не Голодном острове, а в местах всемирно известных: на Биб-Эйбате! Близ Баку. Мне ведь не требуется много чистоганом. Расчеты пойдут через банк. А вот вексель, повторяю, на предъявителя и с оговоркой, что выплата будет только из добычи нефти, – подпишите. Ну а я, конечно, срок оплаты его подсокращу...

– И как же подсократишь? – переходя на ты, спросил Лужнин, отойдя к балконной двери, поглядывая оттуда на Чекишева, сунув пистолет в карман брюк, заложив другую руку за борт пиджака, словно боясь, что туда проникает рука инженера.

– Привезу я, – ответил Чекишев, – в фаэтонах деятелей банка на нефтепромыслы. Покажу им добычу в сотни тысяч пудов нефти, и мне банковцы учтут ваш вексель из двадцати процентов годовых. На такой процент банковцы клюнут!

– Клюнуть-то они клюнут... кхм! Так-так. Но это какое же мальчишеское расточительство. Мне тем самым ты своего папашу напоминаешь, он тратился на карты и женщин, а ты на выплате процентов убытки нести вздумал. Не выкинул бы я столько денег в процентах только за то, чтоб получить меньше, но раньше...

– Не вспоминайте вы моего отца. Не о нем разговор... – тихо произнес Чекишев. – Там, над землей Баку, на Биб-Эйбате летают орлы из Лондона. Гляди, склюют англичане ваш

нефтеносный кусок, боюсь, как бы нам не опоздать...

– Орлы Англии летают?! Сколько бы ни стоило – не уступлю им!

Лужнин вернулся к столу. Объяснение всей «операции» удовлетворило его. Он улыбался.

– Теперь мне все понятно, – почти прошептал Глеб, – за исключением того... той помощи в редакции газеты «Биржевые ведомости».

– Вопрос уместный. Вот вы и убедитесь, что из всех денег мне перепадет лишь треть. Я дело начну не на эти деньги, а на двести тысяч по векселю. Расходы будут у меня немалые, так вот: в редакции газеты «Биржевые ведомости» работает мой приятель...

– Инженер-фокусник...

– Жить каждый хочет повольготнее. Он устроит за хорошую оплату первую заметку в газете о том, что куплены пески вместо нефти. Это вам поможет изъять ваши векселя по пятаку за рубль. А затем последует сообщение газеты, что нефть, оказывается, обнаружена и тысячи пудов пошли на поверхность. За такое положительное сообщение в газете я обязался тоже заплатить другу. Вы окажетесь хозяином нефтепромыслов.

– Ну и надо же! – воскликнул Глеб. – Газетчики, значит, чик-чирик пером по бумаге десять строк, и гляди – капитал!.. Эх, где мое не пропадало, – продолжал смеяться Глеб. – Значит, за нефтеносный участок клади на ладонь ты-

сячу банку, тысячу – газетчикам, тебе тыщи! Эко расход! Значит, у меня в кармане билет в ложу! Истинный Бог, спектакль! Была бы лишь потеха над местными купцами. Вот они вой подымут!

Глеб, подписав вексель на большую сумму, вдруг спросил.

– А из каких источников узнал ты, Аркаша, о том, как мой отец приобрел пароходство на Волге? Кто рассказал тебе?

– Расскажу, Глеб Федорович, на досуге. Мне пора и честь знать. Голоден я, пора к обеденному столу...

– К обеденному столу? – удивился Глеб. – День только начался. Не все еще мои служащие сели за столы в конторках.

– А я и вчера не обедал, – ответил Чекишев, скрывая, что был гостем у адвоката.

– Тебе, такому умнице, пришлось голодать?! Бог мой, Николай Чудотворец! Что творится-то? – продолжал Глеб, смеясь.

Чекишев, проведя рукой по борту своей изрядно поношенной студенческой тужурки, указав Глебу и на потрепанные свои сапоги, сказал:

– Мне на починку бы инженерского обмундирования, с вас, генерал, Ваше превосходительство, на заплатки бы... рублей... несколько... с легкой руки вашей...

Лужнин, уверенный, что не может быть обманутым, раскошелился: выдвинул ящик огромного письменного отцовского стола, достал деньги и с прихлопом положил их на ладонь Чекишева.

Аркадий Чекишев жадно глянул на свою «получку». Улыбнулся. Но вот ему стало муторно. Закружилась голова. «Много денег дал, – думал он, – за один только разговор, а впереди – тысячи рублей! Бог мой, правда ли, что ты есть на небе?».

Глеб, наблюдая, как Чекишев трясущимися руками кладет такие крупные деньги в карман поношенной студенческой тужурки, сказал:

– А вот диплом разверни... Прочту...

Прочитав и аккуратно свернув диплом, Лужнин строго произнес:

– Молодец! Завидую. Твоему упорству завидую – искать золото под землей. Золотые струи нефти, на Биб-Эйбате даже... Твой успех – мой успех! Завтра в двенадцать придешь на мою пристань. Провожу тебя в Астрахань, а там тебе и Баку!

Чекишев чувствовал необходимость вырваться на улицу. Отдышаться там. Напряженная беседа с Лужниным давала о себе знать: дрожали коленки, подгибались ноги.

На улице Чекишев сказал себе: «Оказывается, земля под ногами колыхается-плышет не только когда в беде, а и тогда, когда вдруг так заслуженно богатеешь. Куда теперь?».

Надо было приодеться. Побывать в бане. В самой дорогой, первоклассной бане, где отдельные номера с ванной. И Аркадий, не стесняясь людского окружения на улице, крикнул во все горло проезжему извозчику:

– Ванька, подворачивай ко мне!

До вечера Чекишев не отпускал этого извозчика. Побывал и в универсальном магазине братьев Губановых, выйдя оттуда хорошо приодетым. И в бане побывал. Там-то Чекишев и подпорол у пиджачного рукава подкладку, зашил туда вексель Лужнина, решив, что о такой сделке адвокату и знать незачем.

В трех магазинах побывал Чекишев, закупая то и се, сказав себе: «Пускай сегодня стол ломится от вин и закусок. И, разумеется, неплохих...».

Даже всю корзину цветов у какой-то девчонки закупил, проезжая мимо ограды Александровского сквера, глянув на окна Александровской мужской гимназии, в которой обучался когда-то вместе с Ивановым.

В этом Александровском сквере, кажется вчера, покупали бутоньерки гвоздики, чтобы дарить гимназисткам, не замечая, что дружинники большевиков разбрасывали прокламации... «Долой царя!»

\* \* \*

И опять перед Чекишевым Волга! Вон, вдали «Чайная биржа» купца Голдобина и пароходы, пароходы гудят у причалов. Это там, на Волге. До Волги еще версты две.

– У парадного остановись! – скомандовал извозчику Чекишев, указывая на особняк адвоката, а взглянув на синее

небо, зашептал: – Господи! Прости мои пригрешения: кутну сегодня впервые за свои двадцать пять лет. Эх, пошел-распошел! Отбродил я по святой Руси, наскитался с сумой. Начинаю жить... Отца помяну, хоть и опоздал на похороны.

К десяти часам вечера друзья юношеских лет, недавние студенты, выпивая рюмку за рюмкой, захмелели. Иванов уже и пенсне свое уронил под стол, рывкнул на всю квартиру, приказывая горничной:

– Дура! Нагнись, подыми!

Много курили. Вторую пачку папирос «Русская избушка» распаковали. Беседовали. И тут-то вот Иванов, вспомнив Петербург, студенческие денечки, спросил Чекишева:

– А где теперь Наташка?! А? У тебя с ней что-то было этакое... а?

Чекишев молчал.

– Да, Наташа умница! Но кто дернул ее за подол и потащил к большевикам? Я ей спасибо говорю... Правда! Ведь она тебя и меня на очень интересный путь подтолкнула в подпольном кружке. И да будет свет! Я благодаря Наташе узнал о марксизме. О материализме! Для меня материализм – в денежках, – и обнял Чекишева, целуя в смуглую щеку. – А для тебя... Или ты за революцию? Ты еще ничего не сказал об этом...

– И я за материализм! – ответил Чекишев. – Одолеть бы все, но стать обладателем банковской чековой книжки... Мечтаю!

– А где она? Наташка-то где? А?

– А зачем мне знать?! – толкнул Чекишев друга в плечо. –

Зачем нам знать?! Если хочешь, скажу: льнет она и сегодня к большевикам. Мы правильно поступили, отрекаясь от них. Нам самим до себя. Ты умница...

– И... И ты у-у-умница. Оба мы! Э! Аркашка! Сгубит себя Наташа, свою юность... А Наташа красивая! Красивая. А в душе у нее что? А? То-то!

...Назавтра не совсем еще в себе после пьяной ночи Чекишев, стыдясь, встретил на пристани Лужнина, сказав себе: «А что больно-то я кислюсь? Будто Глеб безгрешен...»

В тот час Глеб ожидал из Саратова свой пароход «Ориноко», старинный, с огромным гребным колесом на корме.

\* \* \*

На третьей палубе около капитанского мостика Глеб сказал Чекишеву:

– Счастливого тебе пути, Аркашка! Все документы я распорядился выслать на твое имя в Баку, в коммерческий банк. Там получишь и деньги! А пока хватит тебе и того, что в кармане. А то, упаси бог, на женщин, тут по каютам шмыгающих, раздобришься... Деньги береги!

Чекишев кивал, подчиненно заглядывая «хозяину» в глаза, заметив, что это миллионеру нравилось.

– Ничего недоговоренного, – продолжал Глеб, – между на-

ми нет. Об этом я и ночью думал. Нет смысла мне тратить время на поездку – провожать тебя до Владимировской пристани, чтобы там пересесть на мою «Графиню». Езжай! На телеграммы не скупись...

Так они и распрощались. Чекишев на хозяйском пароходе отправился в Астрахань, чтобы оттуда пароходом же следовать в Баку, а Лужнин на сером рысаке вернулся к своим неотложным, обычным делам миллионера.

Вместе с Чекишевым, но в другой каюте, выехал из Царицына в Баку тайный сыщик Глеба, обязанный миллионером наблюдать за Чекишевым.

Первую телеграмму из Баку Лужнин получил именно от своего тайного порученца, который уведомлял миллионера намеками, что Чекишев ведет себя достойно лицу, у которого на руках доверенность на управление нефтяными промыслами. «Его светлость, – сообщалось в телеграмме, – прибыл туда, где его ожидали, и энергично вмешался во все нефтеносные дела. По дороге от Царицына до Баку его светлость любовался Волгой и Каспийским морем. Собеседников избегал. Обеды, ужины проводил не в салоне, а у себя в каюте».

Довольный таким сообщением Лужнин вскоре получил еще и уведомление банка по телеграфу, что право собственности на нефтеносный участок на Биб-Эйбатской земле отныне принадлежит ему, Глебу Лужнину, главе «Торгового Дома Лужнин Г. Ф.»

И пошел-распошел Глеб фертом ходить среди миллионе-

ров Царицына, размахивая перед носом каждого телеграммой банка из Баку и врать при этом, что триста тысяч заплатил за нефтеносный участок.

В кулуарах Волжско-Камского коммерческого банка, в Азовско-Донском, в купеческом кредитном только и было разговоров, что Лужнину, мол, стало на Волге тесно, что он, гляньте, переплыл Каспийское море!

– Всяких расходов – тысяч двести, – продолжал Лужнин врать без запинки. – На оборудование, на то и се потрачено полмиллиона. Зато какое будущее! Миллионные доходы! Принимайте участие. Плачу за сто тысяч, выданных мне наличными, полтора ста тысяч векселями... Кто? Налетай!

И налетели!

За один день Лужнин выдал векселей, не подлежащих банковскому учету в течение трех месяцев, на тысячи рублей, получив взамен пятьсот тысяч рублей наличными. Уплатить по векселям предстояло из будущих доходов нефтепромысла.

На другой день Лужнин операцию с выдачей векселей повторил, представляя себе мысленно, как к его собственным миллионам рублей лепился еще один миллион, пока еще почти чужой.

Но Лужнин хотел большего. Он не завидовал маслозаводчику Воронину, у которого пятнадцать или двадцать миллионов, не завидовал лесопильным королям братьям Максимовым, не завидовал братьям Серебряковым, да и другим мил-

лионерам Царицына. Завидовал Лужнин сахарозаводчикам на Украине. У каждого из них в банке если не триста, то четыреста миллионов. Но куда деться от зависти? Миллионеры Украины завидовали Ротшильду, Рокфеллеру, Моргану, Эссену, Форду – миллиардерам.

Лужнину тоже завидовали. И многие. Они его, молодого и прыткого, так и сожрали бы со всеми потрохами, да не из тех он недотеп, чтобы не видеть, кто именно подбирается к его миллионам. Он из тех, кто сам не упустит чужой капиталец.

Завидовала Лужнину гимназистка-второгодница последнего класса, слышшая в Царицыне непревзойденной красавицей и танцовщицей. С ней Лужнин познакомился на одном из вечеров, которые он устраивал у себя, приглашая только знающих французский язык. Вечера эти заканчивались игрой в «свет и тьму»: тушили свет и при зашторенных окнах ловили друг друга. Каждая гимназистка хотела оказаться в объятиях Лужнина. Особенно об этом мечтала Ада. Она думала, что это и будет ее первый шаг к миллионам Лужнина.

Вчера Ада помахала Глебу перчаткой с тротуара, а он прочмался мимо, не остановил своего рысака. Извиняющим обстоятельством Глеб посчитал то, что готовился выступить во «втором акте блестящего спектакля», как он назвал свою операцию с нефтепромыслами.

Занавес был поднят, как только в газете «Биржевые ведомости» компаньоны Лужнина прочли сообщение, что на Биб-Эйбате куплены пески вместо нефтяных источников.

К двенадцати часам дня в контору Лужнина нахлынули все, кто вложил наличными деньгами тысячи рублей, надеясь получить невиданный доход. Лужнина требовали в контору десятка три купеческих глоток. Они выкрикивали такое, словно и в церковь никогда не ходили замаливать свои грехи. Тут что-то не ладилось с поговоркой: «Рыбак рыбака видит издалека». Не разглядели, не разгадали обманутые купцы обманщика купца! Конечно, купцы всегда рисковали, но вот такое нефтяное дело подвело прямо-таки под веревочку на шею.

Лужнин слышал все угрозы, проникающие сквозь дверь кабинета управляющего. Слышал. И посмеивался. Тем самым изумляя управляющего, готового рискнуть посоветовать хозяину прекратить такую «игру». Однако не посмел, удивляясь тому, как спокойно Лужнин приглядывается то к одному, то к другому макету пароходов на лакированных полочках в кабинете. Вот Лужнин крутнул у «Ориноко» гребное колесо на корме... Вот щелчком ударил «Графиню», затем «Багратиона» и стал одаривать щелчками буксирные пароходы: «Снегопад», «Буря», «Вася», «Ваня», «Бурлак».

А крик все усиливался:

– Выходи! Не прячься!

Лужнин встал из-за стола и с усмешкой сказал управляющему:

– Ну, тебе придется теперь побыть и боцманом моего корабля. Размещать груз будем, как и положено, чтобы не пе-

регрузить корму корабля. Пускай купцы наорутся. От этого они сильнее не станут... Поослабнут. Шумят они от мелких потерь. Завтра недодадут по гривеннику рабочим, а там и весь год не будут додавать – и с лихвой покроют свои убытки. Иди на палубу. Получай мои векселя и складывай в сейф, платить будем пятаком за рубль. Понятно, думаю?! То-то! Пусть будут довольны пятаком мои компаньоны!

Лужнин появился перед орущими компаньонами, морща болезненно лицо:

– Господа! – воскликнул он. – О чем, господа, вопите тут?! Ведь оплата моих векселей обеспечивалась добычей нефти. В каждом векселе об этом упомянуто. Нефти нет! Будем нести убытки на равных! Ни пароходы, ни домовладения, ни кондитерская фабрика, ни лесопильный завод не в ответе! Не под залог этого имущества выданы мною векселя. – Лужнин скривил свое лицо. – И если бы все имущество не было в залоге, еще надясь распродал бы и расплатился... А? Э-эх! Беда! Все мое уж заложено-перезаложено... Скоро нагрянут купцы из Саратова, Самары, Москвы, им я должен куда более, чем вам... Берите, что есть в кассе, – по пятаку за рубль хватит, может быть... Управляющий будет выдавать... А я – вылетел в трубу, обанкротился... Был миллионер Глеб Лужнин, а теперь я – трын-трава! Мы тут с вами царицынские – хватайте, что есть в кассе, а то нагрянут из Саратова... и копейки за рубль не получите!

Глеб раскланялся и ушел в кабинет управляющего. Там

он поставил на письменный стол венский стул, взобрался, как взбирался управляющий, чтобы подглядывать в пропильную под потолком щелочку за работой кассира и конторщиков, и глядел на одураченных компаньонов.

– И пусть Бога благодарят! – смеялся Глеб.

Когда в сейф Лужнина управляющий бросил последний вексель, Глеб спрыгнул со стула прямо на пол, вытирая большим батистовым платком вспотевший лоб. Ведь не так-то просто, оказывается, заработать обманным путем миллион рублей!

А через пять дней в газете «Биржевые ведомости» появилось сообщение, что семь буровых скважин, глухих еще вчера, вдруг выдали разом на поверхность Биб-Эйбата более двухсот тысяч пудов нефти.

Чекишев прислал телеграмму:

«Уважаемый Глеб Федорович! Через месяц подгоню в Царицын две нефтеналивные баржи. Готовьте резервуары. Ставьте нефтекачку около причалов Нобеля. Мы ему станем поперек горла. Мы – русские!»

В тот же вечер Глеб Лужнин дал бал.

Присутствовал на балу и вездесущий Николай Баяров, которого Лужнин, взяв под руку, отвел в свой домашний кабинет и сказал:

– Мы тут и без тебя попляшем. Отправляйся по делам. Нужно срочно начать постройку нефтеналивных резервуаров, оборудовать нефтекачку... Но именно неподалеку от

нефтекачки Нобеля... Глотку этому шведу хочу заткнуть...  
Россия – все же Россия для русского промысла!

В фаэтоне, по-пьяному развалиясь, с веселой улыбкой напевал Баяров:

Если б милые девицы

Все могли летать, как птицы...

Хоть и был Баяров навеселе, однако не забыл о поручении Лужнина – ускоренно поставить на берегу Волги нефтяные резервуары. В этом деле помогли бы Пуляевы – Петр и Семен. Потому подрядчик и приказал кучеру остановиться около шестиоконного бревенчатого дома.

Долго Баяров стучал в калитку, ворота и ставни, никто не отозвался.

А в тот час в доме Пуляевых произошло такое, чего там и не ожидали.

Прожив в уютных хоромах почти полсотни лет, Семен Пуляев, глава семьи, пасхальной этой ночью внезапно занемог: закружилась голова, и он упал, когда в доме ни сына Петра, ни внука Егорки не было. С трудом, своими силами дополз до кровати. Натужно взобрался, подтягивая к себе подушку за уголок. Отдышался, пробуя поднять голову. Удалось. Значит – анисовки надо! Выпил – полегчало. Выпил еще – и весело стало. Тогда он вынул из тайника все накопленные деньги, упакованные в тысячные пачки сторублевые банковские кредитки. Без труда пересчитал эти желтеющие «катеринки». На семнадцать тысяч было их. Глядеть на деньги ему

было очень радостно – и это уж на семьдесят пятом году жизни! Спрятав деньги, погасив лампу, улегся в постель. Захотелось вдруг ему вспомнить свои неблагоприятные поступки.

А вспомнить было о чем: на Волгу он пришел, когда строилась железная дорога Царицын – Дон – Калач. Пришел из села Ливенки Орловской губернии, украв там у соседа гармошку. В игре на гармошке не находил себе равных. И нет чтобы шпалы класть, а смог жить от трудов гармошных. Где пьянка-гулянка, там и он. За каждую плясовую – пятак. За песню про Стеньку Разина – десять копеек. Не сразу накопилось десять рублей. Вот тогда-то он и закупил в Царицыне кетовой икры, осетрового балыка на все десять рублей и водки под заклад гармошки. Рискнул. Привез купленное на берег Дона, чему там инженеры несказанно обрадовались. И накинулись тут покупатели. Платили не скупясь, не выторговывая полтинники. Пили. Закусывали. И платили втридорога. Так и пошли дела. А тут еще обнаружился пьянчужка, старый шулер. Играть с ним никто не хотел, а похмеляться у него была большая нужда. Вот он и продал свои секреты за десять дней – за десять похмельных стаканчиков. И то доход. Ливенку продал, купил саратовскую гармошку с серебряными колокольчиками. За песни и плясовые стал брать дороже. Понравился купцам, которые на корню скупили у татар-плантаторов арбузы и дыни. В Сарептском затоне сел на баржу – угождать купцам в пути от Царицына до Нижнего Новгорода. Ехали купцы на ярмарку. Там они продавали

арбузы – копейка ломоть, а купали за копейку два арбуза. Ехали обнимаясь с бутылками водки. В Саратове девок на баржи согнали. Знай себе плясовые наяривай.

Вот и наяривал, пока к нему не прижалась ночью, увильнув от купца, еще почти девичьей грудью смуглая девка с цепкими на поцелуи губами, сказав: «Сохрани эти сотенные... Украла. Нам с тобой. Жить хочу по гроб рядом... Гармонь люблю слушать...»

Это был второй грех...

Вот и зажили они потом по-семейному. Родила она ему сына – Петра, а затем и у Петра родился сын – Егорка. Это уж когда поставил на косогоре, над кручей, шестиоконный дом.

Вставая всегда рано-рано, Семен спешил к окнам поглядеть, как натужно буксирные пароходы тянут вверх по Волге караваны барж.

– Не будет раздолью Волги ни конца ни края. А меня не станет. Может, завтра? – шептал Семен, лежа в постели.

И вдруг резко повернулся набок. Показалось ему, коль лежал на спине, скрестив руки на груди, что не в постели он, а в гробу.

Так, на боку, лежал почти до рассвета, пока не пришел сын Петр.

– Живой, что ли? – спросил он.

Семен знал, что Петр ждет не дождется, когда отец померет, и ехидно иной раз про себя улыбался: «Деньги мои царапают Петру душу. А вот возьму да и подпишу монасты-

рю... Бог? Никто не доказал, что его нет, никто не доказал, что он есть, а все же, без прогаду, жизнь на том свете вдруг, да и всамделешняя? Пускай молятся за меня монашешеньки...»

– Живой, Петро, живой я еще... Пришел?.. А Егорка где?

– Придет и он, – хмуро ответил Петр, усаживаясь на диван. – Эх, батя, устал же я... Двенадцать церквей обошли... В каждой к плащанице Христа приложились... Разговляться пора...

Показался в дверях и Егорка с двумя плетеными одноручными корзинами пасхальной еды, приготовленной по заказу Петра на кухне трактира Бокарева, что на углу Княгининской улицы.

Расторопный Егорка мгновенно опорожнил корзины. Положил на стол куличи, пироги, ватрушки, котлеты, французские булочки, нардечные, пончики. Разложил попарно белые и крашеные яички. Под конец, глянув на деда, Егорка поставил на стол две бутылки анисовой водки.

– Ну, разговляться так разговляться! – заговорил Семен, приподнимая одну из бутылок, просматривая ее содержимое на свет. – Без подделки товарец! – воскликнул он. – Такую анисовку пил сам фельдмаршал Суворов! Ну, рассаживайтесь! Тащи, Егорка, стаканы, вилки, ножи, тарелки и прихвати рюмку!

– Для кого это рюмку-то? – спросил Петр.

– А для вот этого фельдмаршала! – ткнул себя большим

пальцем в грудь Семен.

– А чего же для праздничка Христова не выпить стакан?

– Это мое дело. Мне указчиков не нужно... – ответил отец сыну, скрывая от него, что ночью почувствовал себя худо.

Разливая водку по стаканам, а себе в рюмку, Семен Егорке налил полстакана, сказав:

– Знаю тебя... Где-то еще добавочек прихватишь.

Выпили. Закусили молча. Затем Семен стал сетовать на жизнь, что пора бы, мол, обзавестись хозяйкой в доме, а не все из трактиров питаться неизвестного качества харчами. Петру тут слушать пришлось о том, что пора жениться еще разок, что на Красной Горке загудят по всей округе свадьбы, что надо Петру подыскивать себе невесту. А когда Егорка зачем-то отлучился на кухню, сказал:

– Таковую выбирай, которая бы...

– Знаю! – грубо ответил Петр отцу после второго стакана водки. – Не тебе жить с моей женой, а мне... А в них никто не разберется! Под мои годы брать бабу не хочу, а помоложе если, так Егорка, ярый до девок, помехой окажется на семейном пути...

– Ну, мы с тобой вдвоем одернем Егорку...

– А чего – так я и в зубы! – размахался кулаками Петр.

– Нет, нет, сынок! Заколотил одну жену в гроб, до другой я тебе не позволю пальцем дотронуться, – рассердился отец и налил себе вторую рюмку. – Кулаком?! Жену? В зубы?! Ты будь перед женой ангелом. Подластись к ней. Из послуш-

ной-то, смягченной ласками пышки-лепешки выпекай! Ласками-побасками. А побей ее, тогда ответы ночью получишь? Дурак! Женские ласки сколько, знал бы, сил на весь день дают! Ходи-ходи козырем! Всё на белом свете будто для тебя одного.

Егорка к столу не вернулся. Он суетился на кухне. Торопливо выпил «добавок» из третьей бутылки, которую, оставив в кармане пиджака, не выставил деду и отцу на стол.

Сунув за сундук недопитую бутылку, Егорка вышел на дворовое крыльцо подышать весной, ее ароматом, идущим от вишен и клена, уже започковавшихся.

Спускаясь с крыльца, Егорка чуть покачнулся, еще раз чуть-чуть – когда уж открывал калитку, пожелав взглянуть на улицу.

А по улице, быть что ль тому, шел давний враг Егорки Борис Светлов. Рослый парень, ну просто богатырского телосложения.

Егорка боком как-то по-пьяному нырнул во двор, со злобой захлопнув за собой калитку. Остановился во дворе, подбоченился, посматривая на траву, пробившуюся по обе стороны дворовой тропинки, сказав свое:

– Ну и что ж теперь-то я, как бывало гимназистом, ознобу поддаюсь и при встрече с Борисом увиливаю в сторону?! Пора ему бегать от меня, а не мне от него... – и глянул в трещину забора на улицу, отыскивая там глазами Бориса. И увидел. На обрыве. Одного. Глядящего на Волгу.

Закачались перед Егоркой зеленеющие деревья, что росли во дворе.

Глянул Егорка на небо – заволакивало, быть низовому ветру с Каспия. На Волге будут бугристые волны... Будут?

– Пойду-ка я, – сказал себе Егорка, – стану рядом с Борькой. Попробует тронуть – пристрелю... – Егорка нащупал в кармане пятизарядный револьвер «Смит-Вессон», никелированный, с черной костяной ручкой, и усмехнулся: – А чего?! И стрельну! Пускай только полезет в драку...

Сперва Егорка шел к обрыву быстрыми шагами, потом замедленными и, почти не дыша, становился чуть позади Бориса.

Ветер дул с улицы в сторону Волги. На Бориса нанесло водочный запах. Оглядываясь, увидев Егорку, Борис как-то разом потерял интерес к Волге, к разглядыванию волн и набегающих туч. Спросил Егорку:

– Чё подкрался-то?

– Ничё! Аль Волгой любоваться запретишь?

– Нет, конечно... Но Волгу из шести окон вашего дома видно куда как далеко, чем с обрыва...

Эти верно. Это так. Егорка богато жил в большом доме. А дом матери Бориса был маленьким. Да и то во дворе. Волгу оттуда не было видно. Егорка об этом знал. И от того, что у Бориса был домишко бедный, Егорке иногда и казалось, что и верно парень так себе. Казалось! Это когда Бориса не было рядом. А вот когда на один шаг от него находишься, то снова

озноб одолевать начинает. Одни глаза Бориса, голубые, что тебе нож за стеклом витрины. Смотри – вот сверкают!

Бориса опять что-то привлекло вдали на Волге, захотелось разглядеть, но соседство Егорки было до тошноты противным. И Борис сказал:

– Шел бы, Егорка, отсюда... Говорить нам не о чем...

– А вот и не уйду! – ответил Егорка, сунув руку в карман своего пиджака... – А если чего-то, как бывало колотил... Не дамся! Я, глянь, не один, со мной еще пятеро! – Егорка вынул револьвер и... И только видел его. Револьвер уж сверкал в руке Бориса.

– Отдай... – плачуще произнес Егорка, – я пострадать только хотел. И все равно в полицию заявлю, если не отдашь. Тебя за незаконное хранение огнестрельного оружия... В тюрьму!

Сказал это Егорка и попятился. Пятился и глядел, как револьвер подлетел чуть ли не до облаков, поблескивая никелем отделки. Блеснул еще раз над Волгой и исчез в воде. Далеко от берега.

У Бориса хватило ловкости выхватить револьвер из рук Егорки и сил хватило забросить за баржу, стоящую под кручей на якоре. Егорка пятился-пятился и вдруг побежал прочь, крича что-то неразборчивое. Потом он остановился вдали и, приложив ладони ко рту, крикнул хорошо слышимое:

– Борька-задирано! Хулиган! Борца Заикина из себя стро-

ит! А я завтра себе другой револьвер куплю. Но тогда-то – берегись!

\* \* \*

Егорка и Борис, парни с одной улицы, когда-то дружили, а потом – дружба врозь пошла. А ведь были «великой тайной» связаны: Егорка обучал Бориса картежничать без проигрыша.

Егорка, еще гимназистом будучи, верховодил на улице всеми мальчишками, пока не затронул девчонку Машу, дочь полуслепого звонаря казанской церкви. Борис заступился за нее.

В бедном доме рожденную всяк норовил дернуть за рукав поношенного пальто, а то и за кофту. Но стоило однажды Егорке сдернуть с Маши юбку и обнажить, как он получил от Бориса два таких тычка, что ползком перебрался через улицу к своему дому. И дружбе наступил конец. А Маша стала льнуть к Борису: в ее шестнадцатилетней душе любовь к нему пробудилась. Борис же просто заступщиком был. Всех отвадил. Но он о любви представления не имел еще. И словом не промолвился. Издали Маша любовалась Борисом да вздыхала. Не сразу она и засыпала на своей кровати.

А Борис уже важничал на всю улицу, лишив Егорку превосходства над всеми парнями. И даже когда учился Борис у столяра мастерству, посылал парней этих со всей своей ули-

цы на деповский двор собирать там железо-лом, таскать татарину-старьевщику. Деньги, полученные ими, становились его собственностью. Он парней обыгрывал начисто. Пока столяр не прихватил его за картами и не сказал:

– Ты мне доверен твоей родной матерью для обучения мастерству, а не картежной игре. В печку карты брось! Пойдем сейчас к мастеру-модельщику на завод. Там обучаться будешь дальше. Ты уже знаешь, друг Борька, слоистость каждого дерева и смыслишь, на что годна береза, бук аль осокорь, клён, сосна, осина, ёлочка. На заводе в модельной мастерской у тебя и заработки будут подходящие. Станешь по-настоящему кормильцем матери... О ней помни, Борька, каждый час!

На окрик старого столяра Борис тогда не обиделся. Душой почуял искреннюю доброту пожившего на белом свете человека. Не глянул – сгорели дотла карты аль только уголки обуглились.

Когда Борис и столяр дошли до угла, Маша выглянула из-за своей калитки. Тоскливым взглядом проводила она Бориса, перекрестив его по-матерински трижды, шепча ему вслед:

– Дай бог тебе, Боря, удачи!

А сердечко билось тревожно. Ведь успела она вчера перевстретить старого столяра и рассказать, что Борис закартёжничался. Того и гляди, в тюрьме окажется, если затеяно было кем-то из парней ограбить казанскую церковь.

Теперь она думала, глядя вслед Борису: «А не предательница ли я?».

...Другом у старого столяра на металлургическом заводе оказался Григорий Григорьевич, мужчина рослый, с кудрявыми усами. Жил он на очень крутом откосе Волги верстах в четырех от завода, в собственном большом деревянном доме.

Когда к нему вошли гости, Григорий Григорьевич, видимо, забавлялся со своими двумя дочками-малолетками, которые, как только отец кивнул головой им, встали с пола, забрали свои куклы и скрылись в другой комнате.

– Зачем пожаловали? – спросил Григорий Григорьевич и, выслушав столяра, положил руку на плечо Бориса, сказав:

– Гож! Я тебя обучу мастерству. Не ленись только. Станешь подмастерьем у меня, а там и мастером. Будешь ходить в пальто на лисьем меху. Мне хотелось бы всех рабочих видеть в костюмах при галстуках и в пальто на лисьем меху... А то, глянь, дрогнут в пиджачках... А?! – И весело продолжал: – Грамотен? О! За три класса – три похвальных листа! Неплохо! Но это первые три ступеньки в жизни... Да-а! Я тебе и хрестоматию познать помогу. Математику... Геометрию... Выучу. В нашем деле надо уметь читать инженерские чертежи...

Пока Борис стал подмастерьем. Когда и пальто на меху появилось на нём, минули юношеские годы. Григорий Григорьевич за это время не только научил Бориса мастерству

модельщика, но и книжками увлѣк. Забыл Борис и улицу, и карты. Познакомился с большевиком Сергеем Сергеевичем Степановым.

Когда полиция арестовала Григория Григорьевича на конспиративной квартире на Пушкинской улице, в доме № 1, сразу позади особняка владельца маслобойного завода Миллера, в подвальном этаже, где Григорий Григорьевич печатал листовки, Борис за час до налета полиции унес сотню отпечатанных листовок и должен был прийти через два часа за остальными и унести.

Не удалось. Посуровел Борис. Он несколько дней вечерами ходил из улицы в улицу, вглядывался в прохожих, напоминающих своей походкой Григория Григорьевича. Борису всё не верилось в происшедшее. А когда уж успокоился, решил, что типографию надо налаживать за Волгой, рядом с хутором Букатиным, на Бобылях.

– Но как бы мне, – закончил Борис, – как бы мне суметь освободить дядю Гришу?!

– Мы сообщаем освободим! – резко ответил Степанов, ударив по углу стола трубкой, отчего чубук куда-то отлетел.

Степанов начал искать чубук под столом, а Борис ушёл, думая: «А может, мне самому, без помощи?».

Так-то так, а всё же Борис иногда возвращался к таким размышлениям, спрашивая себя: «Так как же быть?». А тут, как нарочно, Егорка со своим револьвером подвернулся под руку, когда Борису надо плыть на хутор Бобыли, за Волгу, в

подпольную типографию.

\* \* \*

Низовый ветер поторапливал Бориса. Волгу он переплыл под полным парусом. Подпольщики его встретили у причала, взяли у него бумагу, типографскую краску и запасной шрифт, выдав Борису листовки.

На обратном пути лодку Бориса чуть ли не захлёстывало волной. А он, знай себе, напевал: «Есть на Волге утёс...»

Надо было крепко держать кормовое весло, не спускать глаз с городского берега, где высилась кирпичная громадина «Чайной биржи» Голдобина. Когда-то берег у гостиницы Голдобина был самым оживлённым. Здесь и пассажирские пристани всех пароходств, а чуть пониже – причалы для буксирных пароходов, барж. Гомон и шум грузчиков, разгружавших пароходы, баржи и вагоны береговой линии железной дороги на Дон.

Плывёт на лодочке Борис, не слыша колокольного пасхального перезвона церквей, весёлого перезвона, летящего над бурной Волгой. Борису, знай, поглядывать вперёд, а тут из Воложки, огибая остров Голодный, торопясь, будто на ярмарку, четыре пассажирских парохода, обошли лодку Бориса, поднимая крутые волны, и без того белопенные от низового ветра.

«Из Астрахани! С воблой подлёдного улова... – подумал

Борис, – шпарят наперегонки. Хотят перехватить покупателей. Да, каждый капитан хочет угодить своему хозяину, чтобы первым весенний барыш на рыбёшке схватить...».

Отстали три парохода от «Графини» Лужнина. Ему будет первый барыш.

Пароходы спешили изо всех сил. Из труб валил черный густой дым. Значит, слушаясь капитанов, машинисты поддавали пар и пережигали мазут. Лужнин, если бы увидел над «Графинею» черный дым, выгнал бы с парохода на берег капитана за пережог мазута. Мазута! Из-под земли добываемого! Когда пароходы отдали чалки на причал, тогда и лодочка Бориса приткнулась к городскому берегу, в тихой заводи около лесных пристаней, среди барж и плотов Лужнина. Борис привез из-за Волги с хутора Бобыли пахнувшие свежей типографской краской первомайские листовки. Содержание листовок было одобрено под пасхальную ночь собранием подпольщиков.

Пустынно было в пасхальный праздничный день на берегу Волги, на причалах плотов и барж, где Бориса ожидала Груня, дочь вожака царицынских подпольщиков-большевиков Степанова. Груня подхватила «груз» из-за Волги и сразу же скрылась среди привалов бревен. Борис перегнал свою лодку на другое место, на постоянный причал, кинул на плечо парус, свернутый в рулон, и зашагал домой. Улицы были полны праздного народа. Слышались песни и перепевы гармошек да где-то неподалеку пьяные выкрики. Угадывалось,

что там вот-вот начнется драка. На каждую Пасху дрались, калечили друг друга.

Крепко спалось в ту ночь Борису, а позавтракав, примостился он на табуретке около окна с книгой, проводив взглядом свою мать до калитки.

Мать Бориса Глафира Дмитриевна пошла к престарелой соседке, понесла на расшитом петушками полотенце кулич. Походка у Дмитриевны торопливая. Вообще Дмитриевна делала всё быстро: и стирала, и стряпала. Дома и не посидит. Гляди уж – опять нанялась побелить хату, а ведь еще она и на лесопильном заводе работала укладчицей досок.

Худенькая Глафира, подвижная, то там то здесь появлялась среди штабелей. Была заметна своей расторопностью. За это перед Рождеством Христовым получила из собственных рук хозяина, а не из рук кассира серебряный рубль.

Бабы укладчицы уважали её, слушались, а в обеденный час, как только гудок лесопилки провизжит, словно разбойник в лесу просвистит, усаживались вокруг Глафиры и, поедая принесённую из дома отварную картошку в прикуску с дешёвой селедкой, слушали побасенки. Она нет-нет да и вспомнит про то, как её муж соскользнул под льдину... и утонул...

Да, «нырнул» отец Бориса под лёд, хоть и был расторопным. «Нырнул» в Волгу, обкалывая баржу Лужнина, по весне...

За погибель на работе нет спроса ни с кого. Миллионеру Лужнину никто не сказал о таком случае, чтобы хозяйское сердце не тревожить сообщениями о каждодневных увечиях то на лесопилке, то на кондитерской фабрике. Мало ли где на работе у Лужнина люди калечились. Так что ж, Глебу Лужнину слезы лить, что ль? А когда же тогда ему веселиться? В городе вон сколько случаев на каждый час, на каждый день. Так что ж, членам городской управы не спать, что ль?

Одни извозчики, глянь, за день оглоблями сшибут сотню зевак!

Кривые, слепые, хромые в городе – откуда?

А Глафира Дмитриевна – расторопная, оглядистая – про всё знала. Она и Машеньке заглядываясь на неё, говорила: «Береги себя, Маша. Ух, до чего же ты красивая». А Машенька, как только Глафира вошла в их домик, спросила:

– Чем Боря занят?

– А то не знаешь! – ответила Дмитриевна. – Всё тем же! Книжками! Опять читает. Разговелся и читает.

Тут Машенька и вышмыгнула за порог. Пошла к Борису.

– Чего же вечером, Борь, не стукнул в окошко? И сегодня не вспомнил, когда день такой... Ну, слышь? Во все колокола трезвонят. Ах! – вздохнула она, – с нуждой я к тебе. Отмотай мне с катушки белых ниток!..

Борис молча разыскал катушку и отдал её Маше.

– Давай вместе отматывать... – попросила она.

– Бери ты её всю... катушку эту! – сердито ответил Борис и сел у окна, опять склоняясь над книгой.

Переминаясь с ноги на ногу, будто злясь на стоптанные каблуки, Маша сказала:

– А мне ещё и лук нужен...

– Лук? Две вязанки в сенцах висят...

– Где? В тёмном углу?

Борис лениво встал с табуретки, открыл дверь в сени и, догадываясь, что Мария забавляется над ним, усмехнулся:

– Луку, значит, тебе? Я сейчас надёргаю из вязанки. Пойдём! – и потянул Машу за косу.

Маша оступилась в тёмных сенцах. Схватила обеими руками за плечи Бориса и, повиснув, стала приговаривать:

– И нитки, и лук у нас есть, – прижалась грудью к любимому. Пришлось ей приподняться на носки туфель, а всё же, хоть разок в жизни, суметь поцеловать самой, – жди, когда Борис догадается...

– Я обманула тебя, – шептала Мария Борису, целуя его. – Я про нитки и лук наврала тебе. Встретиться с тобой захотела...

Прошептала и выбежала из тёмных сеней во двор. До калитки бежала не оглядываясь, а оттуда, погрозив пальцем, задорно крикнула:

– Так тебе и надо, нерадивому.

Мелькнув рукавом розовой кофточки, Мария захлопнула калитку. Борис вернулся в дом, посмотрел на себя в зеркало, потрогал пальцами щеки, чувствуя ещё поцелуи, и сел за книгу сам не свой.

Не прочёл Борис ещё и десятка страниц, а в калитке показалась мать. Вслед за ней впорхнула и Машенька во двор. В ярко-голубой кофточке, хоть и не новой, но старательно отглаженной. Серо-клетчатая юбка клёш так и отлетала от её коленок.

Борис задумался: «Чего я ей дался сегодня?!»

Шагнув в избу, Маша сразу же закрыла ладонью книгу и укоризненно оказала:

– Всё не начитаешься! Не ослепни, избавь Бог!

– Право, сынок, – вступила в разговор Глафира Дмитриевна, – в такой-то день сидеть за книжкой...

– Парни и девки за цветами пошли... – зовущим тоном произнесла Маша.

Борис, сунув книгу под подушку, молчал.

– Пойдём, говорю, Борь! Догоним девчат... Мы с тобой лазоревых цветов нарвем в степи... А?

– В самом-то деле, – одобрительно сказала мать сыну, – ступайте за цветами.

Борис глянул на мать, глянул на Машу, надел картуз.

– В степь за цветами, значит, – он помолчал и решительно сказал: – Ну пойдём!

Часа через два Борис и Маша, взбираясь на высоченный

курган, не догнав девчат и парней, оглянулись на Волгу. Постояли чуточку и взошли на вершину. Отсюда перед их взором распростёрлась широкая степь, зеленеющая первотравьем, вся в цветах: красных и желтых тюльпанах. Бросив свой букет на землю, Мария обхватила руками шею Бориса и поцеловала его.

Совсем не так, как в сенцах, когда оступилась.

Ещё и ещё, словно опьянённая степным ароматом и величием картин – степной и волжской, – целовала Мария Бориса.

Или в те минуты для Маши и мир не существовал? Или этот, ещё не узнанный ею мир только и начинался на вершине степного кургана, становился понятным?

И неужели, наконец-то, её любовь к Борису – не сновиденье?

Потом, когда Маша торопливо тонкими девичьими пальцами выбирала из косы колющий рыжевато-пыльный прошлогодний репей, она так глядела на Бориса, будто радости не знать и конца.

Борис, ошеломлённый происшедшим, жалел, что вот уж и началась самая сокровенная близость. Он осуждал вспыхнувшую у Марии страсть и душой терзался, что не нашёл в себе мужества остановиться в таком порыве.

Понимая, что Мария теперь ожидает в скорости свадьбу, он обещал ей это, а сам думал: «Достроить придётся дом. Вот так заботушка ох свалилась на мою головушку неждан-

но-негаданно...».

Он шёл хмурый рядом с Машей, а она, обрадованная его согласием жениться, сияла, улыбалась, говорила:

– Как же тебя, Борь, такого заступника моего всегдашнего, не полюбить крепко-накрепко, навеки?! Читала я; что на нашей земле русской почти двести миллионов людей... А вот чтобы кто-то так навечно полюбил – я и не знаю. Хочешь, я пойду выкатывать из воды брёвна? Аль на лесопилку укладчицей досок, наравне с твоей матерью?..

– Этого ещё не хватало... – ответил Борис, – мать завтра бросит такую работу. И тебя я вместе с ней прокормлю. Мне как подмастерью с первого числа прибавка – семь с полтиной. – И, повеселев, глянул на девичьи плечи Маши: – Ох, заботушка ты моя! – сказал он. – Тебе ли брёвна выкатывать из воды на берег? Возьму вот на руки и подыму тебя. Подкину до неба! Пёрышко ты! Вот кто ты!

Посматривая на Машу, Борис думал ещё и о том, что близок час, когда надо будет пойти на завод к Степанову.

Тропинка с кургана вела к проезжей дороге. Шли и ехали люди из заводского поселка в город, из города – в посёлок. И если не многоцветная скорлупа пасхальных яиц по обочине осыпью виднелась, так оброненные кем-то тюльпаны – красные и жёлтые.

Маша вдруг остановилась, глянула Борису в глаза и сказала:

– Куда нам, Борь, спешить? Чего бы нам подольше не по-

быть на кургане?

– Наше от нас не уйдёт, – ответил Борис, – на кургане мы ещё побываем, а вот сейчас я поверну на завод...

– А я? Что же, через степь до города одна пойду? Борь, не уходи...

– Надо мне быть на заводе... – строго прервал Борис, – и на будущее запомни: пять раз об одном и том же я не обучен талдычить...

Они расстались. Борис шёл не оглядываясь. Он думал: «Только заступался за нее. Ведь все, кому не лень, дёргали ее, бедняжку, за обношенный рукав. А Егорка даже бил её за то, что дразнила его вислогубым. О, детство! – Борис улыбнулся, вспомнив, как однажды раскроил нос Егорке. Он тогда так и лез в драку, щеголяя в пальто на лисьем меху с большим серым каракулевым воротником.

Теперь Борис, оставив Машу на дороге в город, спешил на завод. Предстояло помочь Груне получить багаж с нелегальной литературой.

\* \* \*

Поглядывала Мария вслед удаляющемуся Борису тоскующим взглядом с пригорка.

На дороге в город изредка появлялись экипажи. Перемещаясь, мчались и в сторону заводского поселка пролетки извозчиков. А вот вымахнула ямщицкая тройка, оставляя

пыль позади, скрывая Бориса из виду. В экипаже оказался Петр Пуляев.

Он жил неподалеку от церковного сторожа-звонаря, заглядывался на Машу, и тем более – когда она стала девушкой, а он овдовел.

Маша стояла на пригорке. И все глядела вслед пропавшему вдали Борису.

– Стоп! – приказал Пуляев ямщику и крикнул Марии: – Садись! До дому подвезу! А?!

Доверчивая девчонка приняла приглашение, уселась на мягкое сиденье в экипаже.

– Чего это ты тут одна? – спросил Пётр, когда тройка ямских опять перегнала ещё фаэтона четыре.

Маша не сразу ответила Петру. Правду сказать она не могла, а лгать не хотелось. Не хотелось, а пришлось сказать, что девушки и парни пошли в степь, за курган, куда Маша идти побоялась.

– Чего побоялась-то? В компании-то... – усмехнулся Петр.

– Побоялась. Вот и всё...

Маша отвечала, а Петр разглядывал её, отодвигаясь в угол экипажа. Молчал-молчал, а потом толкнув ямщика кулаком в спину, потребовал:

– Чего молчишь? Спел бы что-нибудь! Песенку ямщицкую для барышни. От самой Дубовки молчишь...

Ямщик, выплюнув сигарку, оглянулся с облучка на Ма-

шу, на Петра, улыбнулся в усы и сказал:

– Для такой-то красотки обязан спеть... – и сильным ямщицко-раздольным голосом начал протяжно, как говорится, на всю степь:

Вот на пути село большое,  
Туда ямщик мой поглядел,  
Его забилось ретивое,  
И потихоньку он запел...

\* \* \*

Пётр тронул Машу за руку и, подмигнув, прошептал:

– Ты дальше, дальше вот послушай, – и, зажмурив глаза, положив руку на грудь, словно чтобы утишить своё сердце, глубже втиснулся в угол ямщицкой кибитки, размышляя, что не в песне было дело, пускай её слушает Маша, а он уж не один раз слышал в лучшем исполнении, тут дело было в другом: он не мог отвлечься от запавшей в душу мысли жениться на Машеньке. Пускай, мол, она моложе лет на двадцать. Не беда! А Егорку убрать с пути – женить и отделить. Но согласится ли Маша выйти замуж?

Так размышляя, Пётр и не заметил, как миновали владения нефтяного короля Нобеля, площадь у Никольской церкви, где собрался народ в ожидании первого трамвая. Пред-

стояло молебствие.

Когда тройка перемахнула речку Царицу по Астраханскому мосту и взяла разбег на Княгининский взвоз, Петр решил, что сегодня же начнёт свататься, пригласив к себе в дом отца Маши, к богато убранному столу, пока Егорка и Семен заняты в Дубовке с плотами из-под Перми, с Камы.

А ямщицкая тройка уж въезжала во двор Петра. Машеньку никто из соседей не видел в экипаже. Петр шептал ей, что он хотел бы одарить её серьгами:

– Ты уже невеста, а вот по бедности-то и без бирюзы и без золота в таких розовеньких ушках. Я одарю тебя. Ты только никому не рассказывай, что серьги – мой подарок. Подумают Бог знает что... Говори всем, что серьги в придорожной траве сподняла...

Лицо Машеньки зарделось. В руках у нее очутилась зелёная коробочка с золотыми серьгами. Петр помог открыть коробочку. Надеть серьги Машенька отказалась.

– Это в другой раз, – сказала она, поглядывая на дверь.

– Сейчас, сейчас пойдёшь, Маша, домой... Задворками ступай, чтобы никто не знал, что была ты тут. Бабы, знаешь, замуж бы ко мне, но не нужны мне сплетницы с нашей улицы.

Маша шагнула к дверям. Петр с улыбкой на весёлом лице стал на пути, сказав:

– Что ж, Машенька, и спасибо мне не сказала... Ну, ступай... – и уступил дорогу.

Встретиться с отцом Машеньки Петр решил безотложно, коль казалось, что теперь все будет непременно, как бывает на Волге ледоход. Свадьба будет! Денежки помогут в этом.

Маша приняла подарок Петра за добрый поступок богатого. Доводилось же слышать, что бедных девушек иногда одаряют богатые. Лишь дома Маша задумалась, обнаружив у себя в карманчике юбки клеш ещё и малинового цвета коробочку, в которой заблестел, как только Маша открыла эту коробочку, засверкал золотой перстенёк с рубином.

«Ишь, какой стеснительный этот Петр, – подумала Маша, – тайком сумел положить мне в карман перстенок».

Перстень пришелся Маше на ее полный мизинец, как приходился прежде умершей жене Петра.

«А не затея ли тут какая недобрая?» – вдруг спросила себя Маша.

Борис уже не думал о завтрашней встрече с Машей. Он шел и шел, приближаясь к заводскому поселку, думая, как и с чего там начнут подпольщики получение нелегальной литературы.

Тесом крытый домик, просто смазанный желтой глиной, а затем побелённый известкой, стоял в полуверсте от завода, верстах в двух от Волги.

На всей Заовражной улице были такие домики у рабочих: два окна на улицу, три окна на двор. Комнат в домике две: первая – только как шагнешь из просторных сеней, не очень-то светлая, с одним окном. Тут кухонный стол, две табуретка,

над столом полка с посудой, а за большой русской печкой койка.

В просторной горнице, с двумя окнами на улицу и двумя окнами на двор, – и светло, и весело. Тут нарядная постель Груни, и стулья с гнутыми спинками – венские, вишнёвым лаком крытые. Тут и стенные часы с боем, три этажерки с книгами, среди которых есть книги с золотым тиснением и в кожаных переплетах прошлого века.

Невесёлыми застал Борис Степанова и Груню. Он узнал о таком вчерашнем, что заставило задуматься.

У Степанова работал подручным Ерофей, на квартире у которого иной раз собирались подпольщики. Груня вчера натолкнулась на жену Ерофея, когда та с полицейским, прозванным в посёлке «Красавчиком», крадучись скрывалась в притоне Курынихи, бабы распутной, где «выпивон» и гулянки. Груня в этот же час не успела об этом сообщить отцу. Степанов уже ушёл в ночную смену.

Прямо с работы Степанов пошел домой к Ерофею. Шёл пошатываясь, усталый. Жена Ерофея Нюшка с крыльца ответила:

– Ерофей забрал всё своё, уехал. Скатертью ему дорога, взамен его похлеще есть мужчины...

Нюшка прятала от Степанова глаза, глядела вправо-влево жуликоватыми, но по-своему красивыми глазами и шевелила полными, обнаженными розовыми плечами, всё натягивая халатик, всё улыбаясь. Густо напудренная, она вдруг со

злостью хлопнула дверью.

Ерофея Сергей Сергеевич разыскал в пивной. В прохладном полуподвале было малоллюдно.

Ерофей, такой же как Степанов, крутоплечий, с бородкой и усами, в суконном картузе, с нахлобученным козырьком над самым носом, допивал шестую бутылку пива.

– Вот ты где...

Ерофей поднял голову от стола, сдвинул картуз на затылок, кивнув на свободный стул. Степанов сел. Ерофей налил пива. Подвинул тарелочку с засоленными ржаными сухарями и сказал:

– Ничего не знаешь! Я свою жизнь пропиваю. Нюшка оказалась женой с кривой совестью. Нож в руку сам просится...

Степанов и этак и так заговаривал, грозить было стал, потом обнимал Ерофея... Что-то страшное случилось с человеком – всё слышит, а будто глухой и одно твердит:

– Ничего мне отныне не мило... И ничего я не хочу... Исчезну! Уходи от меня! Пить буду с нынешнего дня я!

И ушел из пивной, бегом бросился в переулок.

– Ну, а нам нельзя, – заговорил Борис, выслушав Степанова, – нельзя нам пасхальный день пропускать. Сегодня как раз сподручно получить нелегальную литературу и газеты.

Покачивая головой, молчал Степанов. Молчала и Груня. А Борис говорил:

– Пусть Груня идёт на встречу с приезжими.

Сергей Сергеевич согласился. Груня пошла. Надела ве-

сеннюю шляпку. Девчонка еще с виду, гибкая, тоненькая в талии, Груня в простеньком ситцевом платье была привлекательной барышней. Из-под широких полей шляпки мелькали весело голубые глаза. В типографии газеты «Царицынский вестник», где Груня работала наборщицей, её сразу же прозвали «ласточкой». Да, ласковая в обращении, Груня мгновенно располагала к себе, казалось бы, самого нелюдимого человека.

Ей удалось благополучно встретиться и получить нелегальную литературу. Наняла извозчика. Поехала. Слежки не было. Миновали магазин швейных машин Зингера, завиднелась Заовражная улица. Здесь Груню встретил Борис, взял чемодан, она проехала чуть дальше, расплатилась там с извозчиком и переулками направилась домой.

Тому, что всё обошлось благополучно, причастные к этому подпольщики настолько были рады, что забыли про самовар: разжечь угли в нём разожгли, а воды в самовар не налили. Распаялся самовар. Спыхватились, когда гарью запахло.

– Эко беда! – усмехнулся Борис. – Скинемся, товарищи, по полтине и новый купим... – предложил он подпольщикам, – чего усы поддёргивать? – и первым кинул на скатерть серебряный рубль. – Ну, шевелись, у кого деньги завелись! Мне сдачи полтину. Ну, кто ещё? Шарьте по карманам...

Застучали полтинники по столу.

Когда же все брошюры, книжечки и газеты распределили по адресам, когда в ночь по этим адресам все отправились,

Степанов сказал Борису:

– Ну а ты поработал! Топай домой. Привет передай Глафире Дмитриевне и не обижай её, не вздумай отказываться, если заставит тебя по-пасхальному ещё и ещё разговляться куличом, кулич – штука сдобная! Потешь мать – ешь побольше!

\* \* \*

Борис, откуда бы ни возвращался домой, пусть даже и усталый, не пойдёт к калитке, прежде чем не постоит на круче. И в этот вот час, когда на Волгу упала чёрная южная да ещё и пасхальная ночь, он стоял, довольный до удивления, что жизнь его не такая пропойная, как у Егорки Пуляева, которого что не вечер, то извозчики доставляют к воротам вдрезину пьяным и несут за ноги, под руки, на весу сдавать отцу, чтобы получить за провоз, хотя уже обшарили все карманы Егорки, остались довольны, но долг приличия извозчиков: сдать пассажира целёхоньким.

Пётр, конечно, одаривал в таких случаях, а утром всё стыдил:

– Куда идёшь? – спрашивал он сына. – Где заворачивать будешь?

Егорка прощения просил, обещал образумиться. Но чуть ли не в тот же вечер – опять всё вчерашнее. Случалось редко, чтобы Егорка на своих двоих появлялся у ворот. Тогда с

песней, да такой, что хоть уши затыкай, распахобной.

– За что мне наказание божье?! – вопил, бегая из комнаты в комнату Петр, – скажи, Господи?!

Это у Пуляевых давно уж так пошло-поехало. Но не сегодня, когда Пётр проводил Машу задворками чуть ли не до её дома. А она на своей постелёшке спать улеглась да уснуть не могла, в этот же час Борис хотел было постучать в её окошко, но раздумал, сказав себе, что можно и завтра повстречаться, и глядел на вечернюю Волгу, на плывущие в Царицын с далёкой реки Камы белостроганные несмоленные баржи-беляны. Борта их так отстроганы до блеска, что даже в сумерках, а то и ночью, заметны.

Поужинав, укладываясь спать, Борис размечтался ещё и о том, что Машеньку он, познакомив с Груней, заставит побольше читать, а там и вразумит ей, что жить надо не для самих себя.

...А наутро разом все заботы Бориса смахнула с плеч маленькая бумажка, отпечатанная в типографии. Извещение воинского начальника, что полученные новобранцами в прошлом году льготы и отсрочки отменены. В тот же день Борис явился в воинское присутствие на медицинское освидетельствование.

– Вот это солдат! – воскликнули врачи и офицеры.

– В кавалерию... В Петербург Его Величество таких требует!

Перед вечером лишь Борис оказался на улице, обязанный

явиться к воинскому начальнику на следующий день с вещами: ложкой, кружкой и с харчами на четыре дня. А вот Егорку отправили в местный лазарет. Нашлась у Егорки какая-то болезнь. А ведь Петру хотелось, чтобы Егорка оказался в солдатах. В гости к себе Петр пригласил отца Маши. Водки не было, на столе золотой пробкой сверкала бутылка церковного вина, рюмки две которого отец Маши выпил, насупив брови. И без вина всё вокруг обрело радужные цвета: Пётр обещал отцу Маши купить для него домик с крылечком на улицу, чтобы первую комнату оборудовать под бакалейную лавку:

– Не хочу я, чтобы отец моей будущей жены звонарничал на колокольне... Да, да! – и налил по третьей рюмке, после которой продолжал говорить уж о вчерашнем: – Была ли, – спросил Пётр, – Маша на могиле своей матери? Отнесла ли на кладбище весенние цветы? Не была. Ну так вот что, возьмите на расходы и сходите вместе с Машей поставить хорошую ограду и одарите нищих милостыней...

Отец Маши разрыдался:

– Благодетель ты наш, Петр. Умолять буду Машу стать твоей женой...

Дома он уже наговорился вскоре с Машей перед тем, как Борис постучал в окошко, вызывая Машу на улицу. Маша вышла к нему сама не своя. Молча взяла руку Борису, приникла к нему, а он невесело сказал, что не знает теперь, как быть ему, если взят в солдаты.

– Пойду к матери...

– Иди... – уныло ответила Маша, решив, что не бывать ей женой Бориса, что надо и отца послушаться. Может, и взаправду добра ей желает, сказывая «отжила дочь в нужде, пора потешить сытной пищей отца родного, бабу докормить на изюме, да и самой, назло соседкам, девкам и бабам, выезжать в карете из дома надушенной, под шелковым зонтиком, а зимой – так в санках, в лисьей шубке...».

...На вокзал проводить Бориса Маша всё же пришла. Она вышла было из дома в новом платье, с серьгами в ушах, но спохватилась и вернулась домой, чтобы надеть старенькое платье и снять серьги.

И Степанов провожал Бориса. Как только Маша убежала, он отозвал Бориса к железнодорожному пакгаузу и, глянув зачем-то на огромные замки на дверях, сказал:

– Моё напутствие такое: будь осторожным, не горячись, как всегда. И оценивай человека, с которым заговоришь. Со-служивцев узнай сначала хорошо. Но намекай, что рабочие идут к революции. Она на подъёме. По всей России рабочий класс снова подымается...

– Это я сумею, – браво ответил Борис, и в тот же миг сник, сказав: – Только что-то тяжело на сердце. Убёг бы куда-нибудь в непроходимые леса аль в раздольные степи. Охоты нет служить царю...

– А ты ему не служи... – насупил мохнатые свои брови Степанов, – но обучиться военному делу – не плохо! Будут

еще баррикады, как в девятьсот пятом году. Большевикам понадобятся свои ротные, взводные, ну, ещё как там? Пулемётные! Пиши из казарм, царя похваливая. Вот адреса, легальные. Пиши намёками. А мы тут, сам знаешь, не из дураков. Всё поймём. И в моих письмах тебе будет намёк, что делать!

Эх, паровозные гудки! Прощай, родной город. Прощай, Волга-матушка река!

Борис закрыл глаза. Опять открыл. Вправо-влево распротерлась неоглядная за окном Донская степь. Вон и казаки понукают быков, сидя на возах. Казаки возвращаются в свои станицы с базара, из Царицына, везут оглобли, кадки с селёдкой, рогожные кули с вяленой воблой.

Словно кто-то толкнул Бориса в грудь. Он отшатнулся от окна, замутненного его же собственным дыханием, и вспомнил про письмо Машеньки, с которой теперь бы хоть и не расставаться.

Читая письмо, Борис не верил своим глазам, всё вскидывая руку, чтобы откинуть волосы на голове, будто падающие на лоб. Но и тут то же самое – такое, чему не верилось: волосы-то остались у ног парикмахера, в комнатухе его, у воинского начальника.

Да, Машенька писала Борису о том, что она отныне уж не его невеста, а завтрашняя жена Петра Пуляева.

– Так, значит, скручивают голову деньги! Деньги! – хрипло проговорил себе Борис, слыша, как что-то сипит у него

в горле, как там пересохло вдруг, и ткнулся головой в свои пожитки, комкая их в изголовье.

Одoleвали тяжелые размышления и Марию. Случалось ей еще девчонкой видеть разные свадьбы, бедные и богатые. Видела женихов и невест, которые пешком от дома в церковь добирались, а другие в фаэтонах, чуть ли не в свадебном поезде, мчались по улицам, подымая пыль. Тогда и Маша, босоногая девчонка, бежала около дороги, а то и падала в пыль, собирая брошенные из какого-то фаэтона пригоршнями конфеты в завлекательных упаковках-обёртках.

У богатых на свадьбе и не сочтёшь гостей, а у бедных – и десятка не наберётся, но одинаковой была суетня.

Теперь вот Мария сама в подвенечном платье, уж усталая от всего шуму-гаму. Она и в церкви стояла под венцом сама не своя. Не занимали её ни блеск позолоченных икон, ни обручальное кольцо на пальце, ни собравшиеся в кучу бабы и девки с родной улицы, шепчущиеся между собой так, чтобы и Мария слышала, что раз, мол, Мария первой ступила, а не жених, на церковный коврик, то и властвовать в доме будет она, а не её муж. Мария об этом и прежде знала. Её теперь занимали хлопоты вчерашнего дня, когда отец въезжал хозяином в дом, купленный Петром. Нравилось Марии крылечко с парадной дверью в отведенное помещение для бакалейной лавки. Отец был уж при жилетке, при часах, очки его поблескивали золотой оправой, а белый фартук бакалейщика был новым-новым, но отец неуклюже поворачивался, от-

вешивая кому-то из покупателей кусковой сахар, ронял на пол гирьки с весов.

Всё перед Марией появлялось как из тумана и исчезало, закрываемое другими видениями. Так до того часа, когда Мария отчетливо услышала голос Петра, что вот, Машенька, стала ты теперь моей женой, а завтра церковную выписку о браке я отнесу в полицию, чтобы тебя вписали в мой паспорт. Такой царский закон о подчинении жены мужу.

– А по церковному закону, – продолжал Петр, – сама-то слышала, как произнёс священник: «Жена да убоится своего мужа...»

Утром после брачной ночи Пётр показывал Марии свои сараи, своего белолобого коня, борова и уток, поучая, как всё хозяйство ей вести:

– Выездного экипажа и выездной лошадки я не держу, – продолжал Петр, – для этого нанимаю помесечно лучшего лихача, обязанного каждое утро навещать меня и спрашивать – не будет ли нужен на этот день. Вот он сейчас придет... Поезжай, прокатись. А завтра я приведу в дом кухарку, у которой ты за месяц переймешь всякие меню к завтраку, обеду, ужину...

Среди дня, когда Пётр был на берегу Волги, за Марией приехал лихач и помчал её в фаэтоне в брошенный старый дом. Там Мария по ступенькам старенькой лестницы поднялась на чердак. Сквозь ветхую крышу Марии была видна улица, мальчишки и девчонки, толпившиеся у фаэтона, раз-

глядывающие дорогую сбрую коня, его большеглазую мордашку. Вздохнула Мария и присела на корточки за трубой у кучи игрушек, сама удивляясь, что была ведь пора, когда на полутемном чердаке она с какой-то чарующей душой заботой принаряжала своих самодельных кукол, напевала им колыбельные песенки и каждой из них дарила найденные на улице, на базарной площади, на берегу ли Волги разноцветные стекляшки разбитых пузырьков и бутылок. Даже научилась вязать кружева для своих кукол, которые, казалось, благодарно глядели Машеньке в её добрые глаза.

– А ведь будто недавно всё это было... – шептала Мария, собирая все разноцветные стекляшки в ридикюль. Для кукол она сделала в опилках что-то похожее на могилу. Такой холмик, под которым навсегда расстались с ней куколки, а она распрощалась со своим детством.

Торопливо Мария спустилась с чердака, глянула под крышу и повторила:

– Была пора! Теперь иная жизнь началась...

Усаживаясь в фаэтон, Мария расстегнула ридикюль и, вынимая из него вместе с мелкими серебряными монетами разноцветные стекляшки, бросала их в толпу девчонок и мальчишек. Бросала с горькой усмешкой на своем задумчивом личике, будто посылая горсть усмешки в свое прошлое.

И тут бабы со своими приметам. Рассматривая на ладони разноцветные стекляшки, бабы разом решили, что Мария не в своем уме.

– Недолгой жизни она... – махнула одна из них рукой вслед удалявшемуся фаэтону.

\* \* \*

Казармы кавалерийского полка, в котором предстояло служить Борису, уж сто лет были казармами. Стены из серого камня, прозеленелые, воздух затхлый. Сподручно лишь начальству бросать солдат против рабочих: переулки от казарм расположены прямо к заводским воротам.

Да, Санкт-Петербург. Столица. Борис читал, как жилось тут бедноте и богатым. Книги Достоевского прочёл. Знал, что такое трущобы бедноты и что такое роскошные дворцы.

Груня, бывало, просвещала Бориса. Книгу за книгой читал он из её домашней библиотеки.

Груня будто знала, что Борису доведётся всё, описанное Достоевским, видеть воочию: мрачные серые особняки привлекали более всего внимание Бориса. Огромные дубовые двери были заметно тяжёлыми, с бронзовыми, ярко поблескивающими кольцами-обручиками вместо дверных ручек, да с пугающими львиными пастями или оскаленными мордами шимпанзе. Всё это: бронзовое литьё, медные дощечки, привинченные к дверям, – блестело. И когда только слуги занимались этим?

Бывая в частых разъездах, патрулируя ближайшие к заводам улицы и переулки, Борис с тоской на сердце поглядывал

на волны холодной Невы и вспоминал Волгу. Полноводную, в разливе. Нева взята в гранит, а Волга заманивает к себе песочком берегов, островками, и Заволжьем с его озерами, протоками, рощами. А писем из Царицына нет и нет. Это сильно тревожило.

И вдруг сразу два письма. Одно от матери, написанное под её диктовку кем-то из укладчиц досок, а другое – от Сергея Сергеевича. Мать писала, что, бывая каждый день на базаре, не найдёт вот подходящей шерсти, чтобы связать Борису носки, спасающие от мороза, от простуды, что, как только свяжет носки, заодно пришлет в посылке ещё и два десятка пирожков с изюмом.

Все солдаты получали письма от матерей, от друзей, но вот никто не получил такого, какое Борису прислал Степанов.

Он писал, что Борису выпала счастливая доля послужить царю, который будет вскорости праздновать трёхсотлетие царствования на Руси дома Романовых.

Далее писал такое, над чем Борис задумался. Степанов велел отнести карманные часы в починку по адресу, указанному в письме, и немедленно.

«Часового мастера, – писал Степанов, – зовут Антоном Григорьевичем...»

Указывалось, что мастер когда-то жил в Царицыне, что он уже в годах, и в часовом деле весьма опытный.

– Всё понятно, – говорил себе Борис, – но ведь у меня нет

карманных часов...

«В чём тут загвоздка? – спрашивал он себя. – И как вырваться за ворота казармы, чтобы попасть к Антону Григорьевичу Абашину?»

Решил спрашивать своего командира так: «Сестренка моя, двоюродная, тут, в Питере, в горничных... Пирогов бы откушать, ваше благородие?».

И в воскресный день с пяти утра так продолжал думать Борис. Но неспрашно выглядела казарма: офицеры, которым бы дома быть, по квартирам, аль на прогулках с женами и детьми, собирались кучками и о чём-то перешёптывались. Вдруг они поспешно разошлись, каждый в свой эскадрон. Началась седловка лошадей.

Борис всё же подслушал разговор офицеров, возмущающихся тем, что рабочие Питера забастовали, требуя судить всех, кто повинен в расстрелах рабочих на золотых приисках Лены.

Минуты даны на седловку.

И вот Борис уж в седле на своем донском гнедом, тонконогом и быстром на поворотах: чуть повод тронь, а он уж угадывает желание всадника.

Полюбил Борис своего коня. Как только ни холил, как только гриву ни расчесывал, да всё шептал на ухо: «Коняшка, милый, ненаглядный! Разумный какой! Всё видишь – сказать только не можешь...».

Тревожное настроение Бориса, видимо, передалось лоша-

ди. Она что-то всё вздрагивала, как Борис ни гладил ей под гривой шею.

– Куда же нас гонят? – перешептывались кавалеристы.

Борис догадывался о том, куда спешит кавалерийский полк. Покачиваясь в седле, поглядывая на спину своего командира, на боевые ремни, он шепнул соседу слева: «Стрелять, если прикажут... буду стрелять в небо. Поверх голов бастующих рабочих... Хватит и того, что расстреляли на сибирской реке, на золотых приисках. Слышал я разговор офицеров. Им только дозволь, так и нас расстреливать начнут...».

Кавалерийский полк разделился поэскадронно.

Офицер, недавно присланный в эскадрон, часто пощипывая свои туго отрастающие усы, скомандовал:

– Эскадрон! Рысю! За мной!

Зачастили удары копыт по булыжникам мостовой. В переулке узкой улицы мелькнуло красное знамя. А левее, где во всю длину переулка чернел заводской забор, взлетели, словно белые голуби, листовки.

Всю неделю гоняли эскадрон в патрулирование по улицам столицы. Так и не выпало дня, чтобы Борис получил увольнение из казармы. А ведь хотелось именно теперь повидаться с «часовщиком», понимая, что не зря Сергеевич намекал на «срочную починку часов».

Хоть эскадронный командир и косо поглядывал всегда на Бориса, но ведь не он один офицер в эскадроне. Куда деться

от того, что на Бориса заглядывались все остальные офицеры. Хоть на вольтижировке, в манеже, хоть во время рубки лозы.

Крадётся дежурный офицер на конюшню. А куда ему деться от зоркого глаза Бориса, крикнувшего, чтобы все дневальные слышали:

– Смирно!

С ухмылкой, покручивая гусарский ус, дежурный офицер похлопал Бориса по погону и сказал:

– А мне твой эскадронный говорил, что ты раззява! – и дыхнул на Бориса перегаром водки.

Дежурного офицера кавалеристы прозвали причудником.

Оглядев лошадей и кормушки, Причудник поманил пальцем одного из дневальных и сказал ему:

– В Твери, помню, на маневрах ты троих уложил на лопатки. Можно сказать, технику французской борьбы знаешь, учился этому, а?

Кавалерист-дневальный ответил офицеру, что учился у чемпиона мира Ивана Заикина. У русского богатыря:

– Я тогда в цирке конюхом работал...

Причудник сузил глаза так, что в щелочках меж ресниц светились только лишь чёрные зрачки. Он повернулся на каблуках, пришлёпнул подошвами так, что зазвенели шпоры, и спросил Бориса:

– Ну а ты, могучий с виду, не борец? Схлестнёшься с ним? Борису, когда он еще пареньком был, случалось крадучись

взбираться на тесовую крышу цирка, просовывать под брезент голову и глядеть, как борцы выходили на арену в парад-алле! А потом видеть схватки борцов. Всё плотнее прижимаясь животом к доскам крыши, Борис видел на арене и Заикина, и Поддубного, и Святогора Длиннорукого, который без всяких усилий почти брал в обхват противника. Тогда арбитр выкрикивал:

– Двойной нельсон!

Борис догадался, что выгода будет, и, стукнув каблуками, звеня шпорами, вытянулся перед офицером в струнку:

– Схлестнусь! – сказал он, – а что за это? Увольнительную бы к сестренке на пироги...

– Дам увольнительную, – ответил Причудник, – тому, кто победит...

– Прикажете начать, ваше благородие? – спросил Борис.

– Снять мундиры! – крикнул офицер. – Борьбу начать!

В ту же минуту Борис притиснул противника на песок, которым были посыпаны и дорожки, и площадки в конюшне.

– А еще можно? Ваше благородие, можно? – спросил побежденный. Офицер кивнул.

Борис, поняв, что противнику незнакомо многое из правил, задумал удивить офицера техническим приёмом французской борьбы и кинул противника через себя, сперва подержав над своей головой, а затем, крутнув ещё несколько раз как нечто лёгонькое, притиснул почти намертво к песку.

– Вот гад, – зло произнёс побеждённый, вставая и пока-

чиваясь на ногах. – Эх, – через минуту отдыха, – ещё бы, ваше благородие?

– Хватит! – кусая губы, сказал офицер. – Поживи еще. Не спеши в могилу! – и повернулся к Борису: – Фамилия? Имя? Откуда сам?

– Светлов, ваше благородие, Борис Петрович. Из Царицына на Волге. Тут у меня двоюродная сестрёнка... Дядя, дворник у фабриканта... – придумал Борис и получил увольнительную на весь воскресный день.

Адрес Антона Григорьевича не был замысловатым, да и Борис, бывая в патрульных разъездах, узнал улицы Петербурга, догадываясь теперь, куда ему путь держать, а вскоре остановился у дверей мастерской «Часовых и ювелирных дел».

Огляделся, прошёлся до угла. Посмотрел на полицейского у дверей фотомастера, направился туда, решив заказать четыре фотокарточки. На полдюжины у него не хватало денег, да и нужды в этом не было.

– Одну для матери, – думал Борис, – одну Марии. Пускай вспоминает солдата. Одну себе, одну Сергею Сергеевичу. А читая квитанцию, обрадовался, что получил право на отлучку из казармы к фотографу, а там и опять к Антону Григорьевичу.

И вот он опять у остеклённых дверей мастерской. Видит хозяина и заказчицу.

Решился войти, не дожидаясь, когда уйдет из мастерской

заказчица. Открывая двери, Борис говорил себе: «Здравствуйте, Антон Григорьевич. Принёс я вам карманные часы в починку. Степанов советовал обратиться к вам. Служу в кавалерии, а сам из Царицына...»

Ещё шпоры на сапогах не звякнули на пороге мастерской, ещё никакого звона, а мысли у Бориса сменились: «Я к вам от Сергея Сергеевича».

Он не стал рассматривать перстни и серьги за стеклом наличника, не до любованья было ему и старинными часами, которые тикали вразлад, покачивая свои тяжёлые маятники. Борис пристально посмотрел на ювелира, в его выпуклые глаза, увеличенные стёклами пенсне и, казалось, очень уж холодные.

Седоусый ювелир держал на ладони серьги. Спиной к Борису стояла, видимо, хозяйка их. Ей ювелир и сказал:

– Не рекомендую, барышня, менять рубиновые камни на изумруды. Подумайте хорошенько... – обратился к Борису: – Какое у вас ко мне дело?

– Вы починяете часы? – спросил он.

– Нет! Я латаю галоши! Вы куда пришли? – ответил ювелир. – Вы из какого кавалерийского полка, а? Вы вывеску мою видели? Что тут делают? Сапоги починяют или часы?.. – Борис оторопел. Ювелир вдруг улыбнулся, удивив Бориса не по годам молодыми зубами. Любой орех, казалось, под силу таким зубам.

– Вот записка, – будто рапорт отдавая офицеру, произнёс

Борис, – записка от Степанова из Царицына...

Ювелир снял пенсне, взглянув на девушку, а она заметила, как дрогнула рука ювелира, когда он брал записку, сказав:

– От какого такого Степанова?! Давайте... – но как только прочёл пароль «Подымайся! Делу сутки, а потехам празднички!», тут же воскликнул, весело взглянув на девушку: – Наташа! Земляк ваш прибыл в наш эскадрон!

– Да, да, да! Это он меня не арестовал...

– Ну?! Что я слышу?!

Наташа шагнула к Борису, сказав:

– Дорогой ты мой земляк... Зовут тебя как? На какой улице жил в Царицыне?

– Поубавь, Наташа, свою напористость... – строго произнёс ювелир. – Да, земляк он тебе, земляк. Борис Светлов...

– Борис? Прекрасное имя... – продолжала Наташа, но Антон Григорьевич несколько грубо прервал:

– Наташа! Ведь можно об этом потом? – и вышел из-за прилавка, оперся спиной на застеклённый наличник, протягивая руку: – Так какие же такие часы у тебя потребовали ремонта? Покажи...

– А их у меня и не было... – улыбнулся Борис. – Это просто намек!

– Угу! Счастливый, значит. Счастливые часов не наблюдают... Намёк? А мне будто невдомёк... – весело проговорил ювелир и обернулся к Наташе: – Отправляйся с Борисом к Тополю за листовками для солдат. С листовок пока и нач-

нём. Идите, конечно же, не спеша. Будто прогуливаясь...

– Это верно, – сказал Борис, – постараемся не вызвать подозрений.

– Желаю удачи, – попрощался Антон Григорьевич.

– До свидания, – вежливо произнесла Наташа, и они пошли, но остановились у дверей.

– Я расскажу о книгах, которые я прочитал, а прочитал я их много.

– Вот и я ещё дам книги.

– Значит, их тоже прочту, – весело отвечал Борис.

– Ну, в путь-дорогу! – проговорил Антон Григорьевич, тронув Бориса за погон. – Кличку всё же вы мне свою назовите...

– Волгарь, – ответил Борис.

– Хорошая кличка. Широкая! Обещающая... – одобрительно сказал Антон. – Как поживает Степанов? Он не женился? В девятьсот шестом похоронили мы его жену...

– Не женился, – ответил Борис, решив, что было бы нетактичным спрашивать, а что подельывал в Царицыне Антон Григорьевич в году девятьсот шестом.

«Он, – подумал Борис, – и в Царицыне был опытным «часовых дел» мастером, как теперь вот стал опытным «ювелиром» в столице...»

За порогом ювелирной мастерской нахлынули на Бориса и Наташу шумы-гамы уличные: два громоздких автомобиля, обгоняя экипажи, неистово сигналили; извозчики, бра-

нью перекликаясь, хлестали кнутами своих лошадей.

Читая вывески булочных с обязательными над дверьми золочеными кренделями, закрученными в восьмерку, читая вывески магазинов и трактиров с такими же названиями, как и в Царицыне: «Орел», «Синенький», «Приют домовых извозчиков», Борис почти не спускал глаз и со спины Наташи. Тоненькая в талии, она энергично шагала, твердо ступая, что свойственно людям, уверенным в том, что они знают, куда и зачем идут.

Хозяин конспиративной квартиры, человек уже лет семидесяти пяти, был сухощав. Живые и весёлые глаза его светились приветливостью и пытливо вглядывались; высокая фигура его, до удивительного стройная не по годам, отвечала партийной кличке – Тополь.

Листовок у него на квартире оказалось всего лишь несколько. Он радушно предложил чай с бубликами. Сбегал, как молодой, в соседнюю булочную.

Шумел на столе самовар. Хозяин квартиры интересовался делами большевиков в Царицыне, куда дважды за прошлое лето посылался Антоном Григорьевичем к Степанову с нелегальной литературой.

Интересовалась и Наташа, чтобы затем осведомить Антона Григорьевича. Вспоминала она и свое детство, рассказывая, как ей, когда-то одиннадцатилетней девчужке, довелось ужаснуться, увидав мать в гробу.

– А когда отец привел в дом мачеху, – продолжала Ната-

ша, – за мной приехала и увезла в Питер сестра моей матери тётя Клава. У неё тогда, как и теперь, столовались студенты. Двое из них оказались из Царицына...

Борис узнал из рассказа Наташи и о том, что студенты, столующиеся у её тети Клавдии Петровны, подготовили Наташу во второй класс гимназии, что в те времена в казенных гимназиях преподавали только французский язык, и лишь в одной частной гимназии – английский. Тетя Клава понимала, что английский язык практически полезен: язык инженеров и международной торговли, и уступила рекомендациям студентов.

– Потом, когда я, – продолжала Наташа, – уже работала, студенты за обеденным столом разговорились о подъёме рабочего революционного движения в России.

– В воздухе, господа, пахнет и войной и революцией! – сказал тогда студент последнего курса Аркадий Чекишев.

– Может быть и так... – усмехнулся тогда же в ответ Чекишеву студент Иванов. – Но разговоры у нас абстрактные. Познакомиться бы с теорией революционного движения, а?

Чекишев энергично взялся тогда же за дело. Вступила и Наташа в подпольный студенческий кружок.

Время шло. За неделю перед получением дипломов Чекишев и Иванов, ссылаясь на свою занятость, попросили Наташу выбирать темы для бесед в кружке. А вскоре они при- слали записку: «Программу большевиков мы не разделяем. Немыслимо идти на вооруженное восстание. Дипломы у нас

в карманах, и мы должны о себе заботиться».

Записку Наташа получила в конторе издательства технической литературы, где к тому времени она работала переводчицей английских новинок. Недалеко было отсюда и до ювелирной мастерской.

– Что же, – сказал ей тогда Антон Григорьевич. – Случается и такое!

В тот же вечер Наташа всю нелегальную литературу сдала Тополю.

– Вот, землячок, и вся моя история... – вздохнула Наташа, прямо в упор и пытливо взглянув в глаза Борису. – А дорога дальняя. Всякое ещё может случиться, а?

Девичья стыдливость заставила её умолчать, что она теперь хотела бы не разлучаться с Борисом. Никогда.

И Борис о том же мечтал, но как и Наташа, не мог решиться сказать, что встречу видит каким-то святым началом внезапно нахлынувшей любви. И не потому не сказал об этом, что за столом был Тополь. Минуту можно было найти для откровения... но вот откровение-то засыхало на губах. А ведь Борис был не из трусливого десятка.

Чтобы скрыть свою растерянность, угаданную Наташей в выражении его глаз, Борис заговорил про Григория Григорьевича. Наташа поняла, каким Борис бывает, если с товарищем случится несчастье. Да, он не задумываясь, что может сам погибнуть, кинется на врага. А таких будто пуля минует, штык боится.

Все завораживало Наташу: поворот головы Бориса, мягкое прикосновение сильной руки к стакану, пытливый бросок взгляда пронизательных глаз на собеседника. Оттого Наташа и поправила кофточку, стараясь спрятать выпуклую девичью грудь, хотя Борис всего-то глянул лишь на подбородок Наташи, любуясь его очертанием...

\* \* \*

Вымощенный крупным булыжником казарменный двор был узким и длинным. Кавалеристы, привыкшие к воцарившемуся тут запаху конского навоза и прелого сена, показывали свою удаль и ловкость на турнике в углу двора, а иные старались на руках дойти к столику, на котором лежал фунт говяжьей колбасы, сдобренной чесноком настолько, что запах угадывался в трех саженях от стола.

Это расщедрился все тот же Причудник – для развития спортивной ярости у солдат.

Борис пошёл в кубовую за кипятком. Там его встретил один из кавалеристов и возвратил ту самую листовку, которую Борис сунул ночью в его сапог.

– Прочёл я, – сказал кавалерист, – и у меня мороз пошел по коже, я тебя Христом Богом прошу – забудь мой сапог! Не суй в него такие страсти. Видел я тебя, праведника, у моего сапога!

Борис не нашелся ответить. Отказаться? Признаться? А

солдат уже за дверью.

Ровно в десять утра Бориса послали с пакетом в штаб командующего военным округом. Борис рад был отлучиться из провонявшей навозом казармы. Будто бы и конь его рад был. Но быть тому! За воротами казармы, в переулке повстречался малоусый офицер и хлыстиком ударил лошадь Бориса под самое щекотливое место. Конь вздыбился. Борис не выпал из седла, чего так хотел офицер, и злой на все, что видел вчера и что мог видеть завтра, злой на всяческую несправедливость, желая разом её погасить, он обрушил вздыбленного коня на офицера, думая, что полной горстью отсыпал врагу возмездие. Не оглядываясь на затоптанного копытами малоусого, Борис пустил своего коня галопом.

Куда же было деться от такого поступка, если Борис горяч был, если в душе у него жила всё время одна мысль – отомстить за мучения Григория Григорьевича в тюрьме.

В леса под Петербургом умчался Борис. У одинокой избы в лесу остановил своего коня. У ворот бревенчатой избы стоял рыжебородый мужик.

– Давно ли тут проскакали всадники? – спросил его Борис.

– А чего это им тут?

– Ищем беглого солдата... – ответил Борис и, властно отодвинув рыжебородого мужика от ворот, завёл во двор коня, приказывая мужику приготовить воды:

– Отдохнёт конь, напою. А сейчас сенца подкинь!

Двор рыжебородого мужика был покрыт густой зеленой

травой, растущей врасстил по земле. Тропинок от крыльца только две: к сараю да к воротам. Чем же всё-таки жил мужик, во дворе которого очутился Борис? Может, он пасечник, коль не в деревне его дом, а в лесу. Деревню в пять-шесть дворов Борис недавно миновал.

Приглядываясь к мужику, вздохнул и сказал, что блуждать по лесу ой как нет охоты, да и с дороги, мол, сбиться можно, если недалёк уж час ночной. Мужик посочувствовал и предложил Борису заночевать у него, да ещё и разговорился. Жизнь в лесу, видимо, вынуждала к тому, если он вдруг заговорил, что тоже служил царю, что казарма царская тюрмой показалась после жизни в лесу, где и грибы, земляника, малина, орехи:

– Лес у нас такой, что и впрямь заплутаешься. Ночуй. Скажешь своему эскадронному, что сбился с дороги, заплутался в лесу. А что такого натворил беглый солдат? Расскажи, а?

Борис ответил уже в конюшне, когда завёл туда своего коня, что, мол, ничего страшного беглый разыскиваемый солдат не натворил, что всего-навсего сбил офицера копытами своего коня.

– Ох, горяч в поступках беглый... У-у-у-у! За это расстрел, аль того хуже – вечная каторга. А всё же молодец он, что сумел сбежать. Ему ничего больше не оставалось. Проживёт. Россия велика. Леса вон какие, а ещё говорят на Дону, на Украине, на Кубани степи бескрайние. Не пошёл бы на разбой... – сокрушался мужик, опустив свою голову на

грудь: – Беглец-то при оружии?

– Безоружный... – ответил Борис. – Ну, что же, спасибо тебе за приглашение... Ночую у тебя.

– А чего же! Ночуй! Пойдем чего-нибудь пожрём. Груздочки солёные у нас не переводятся... с отварной картошкой, а? Хочешь?

– Ещё бы! Не откажусь! – улыбнулся Борис, – солёные груздочки! С отварной аж картошкой! Давай! Давай! Пойдём скорее!

Рыжебородый мужик после ужина отвел Бориса ночевать на сеновал. Не постелил в доме. Борис даже обрадовался, что так обошлось, не понравилась ему хозяйка бревенчатого дома, молчаливая, косо кидавшая подозрительные, недоверчивые взгляды. Борис не сразу догадался, что хозяйка глухонемая. Когда же догадался, подумал: «И надо же! В лесной глуши жить с глухонемой женой».

Рыжебородый мужик, кривоносый малость, очень уж раскосый, догадываясь, о чём думает Борис, сказал:

– Благодать, а не жизнь, – он кивнул на свою жену, – я её вчера так обругал, что самому ну хоть в землю провалиться... Но успокоился тут же, вспомнив, что жена моей ругачки и не слышала... Благодать, а не жизнь!

На сеновале Борис о чем только не думал, чуть придремнул, и опять сон как рукой сняло. Всё слушал, как его конь хрумкает сенцо.

Слушая шелест леса, Борис думал:

«Да, дурак я! Горяч! Офицеру безусому улыбнуться бы. Вот и остался бы в казарме, делая всё, что поручил бы мне Антон Григорьевич. Встречался бы у Тополя с Наташей...»

Хозяин одинокой избы в лесу, может, и не спал всю ночь, раз Бориса встретил у лестницы на сеновал. Борис спускался со ступеньки на ступеньку, когда услышал голос мужика:

– Ну и как спалось? Седлать будешь? Может, молока парного хлебнешь? – не ожидая ответа, мужик похлопал, погладил коня по шее: – Добрый конь. Мне бы такого... – с какой-то завистливой просьбой произнес он. Борис тут и решился признаться мужику о том, что надумал ночью:

– Нет у меня охоты возвращаться в казарму, – сказал он. – А если конь тебе по душе – покупай! А я? Стану я беглым солдатом. Сумею прожить! В России степи бескрайние, а леса непроходимые, дремучие, а?

– Иди ты! Не врешь? – усомнился мужик и с какой-то тягучей ноткой в голосе добавил: – Два года копил я деньги на лошадку...

– А её тебе вот и послал Господь Бог! Продам!

– За сколько же? – и стал тут мужик такое молоть, что Борис уже предвидел. Заговорил мужик о том, что у коня хвост казенный – обрезанный, что нужно будет на рубль, мол, купить конского волосу, чтобы удлинить хвост, да рубля три на пропой с урядником. – Сбавляй с твоей цены сразу четыре рубля, а?

Борису деться некуда. Уступил. Продал дорогого царского

коня. Заплатил за ночлег и харчи.

– Скажу тебе, – обнял мужик Бориса, – хороший ты парень! Но горяч в делах... Поберёг бы себя... Ты около сердца всегда горсть снега имей!

Прошло время, которое провел Борис на сеновале. Отрастил бороду и усы. Мужик снабдил Бориса крестьянской одежкой: портками, лаптями, посохом, и заявился Борис в Петербург, как лесной мужик, каких тут пруд пруди. Шел Борис на квартиру к Тополю.

Прежде чем уйти от мужика, Борис зашёл на конюшню, обнял там коня за шею, поцеловал около глаз, крупных и заметно тоскующих, словно лошадь чувствовала навечное расставание с Борисом. Когда он был у ворот, конь косо взглянул на своего нового хозяина и, посмотрев в спину Борису, тихо заржал, да так, что Борис такой тоски и не слышал никогда за все месяцы дружбы с конем. Если бы Борис вернулся, то увидел бы, как из крупных умных лошадиных глаз скатились слезинки.

– Невдомёк мне, – сказал мужик Борису за воротами на прощанье, – зачем тебе такие нежности с лошадьёю? Душа у тебя, значит, отзывчивая. Счастливая будет та, на которой ты женишься. Только мнится мне, что век тебе вековать неженатому. Беглый ты солдат...

Повстречаться Борису с Наташей в маленьком домике у Тополя не довелось. Наташа уехала в Финляндию, чтобы привезти из Гельсингфорса в Петербург письма Ленина,

присланные им нелегально из Польши для газеты «Правда». На встречу с Борисом Антон пришёл к Тополю, когда было уже за полночь. Беседовали недолго:

– Вот пакет за сургучными печатями, – сказал Борис, отдавая не доставленное им командующему военным округом.

Прочитал Антон Григорьевич:

– Скоро возможна империалистическая война... Передел мира. Рабочий класс, крестьяне, получив винтовки, должны войну капиталистов превратить в войну гражданскую. В нашу войну! А тебе надо теперь скрываться от полиции в глухих лесах.

В лапти обутый, в сермягу одетый, с бородой Борис уехал на лесоповал.

Познакомился в трактире с Иваном. Тогда он жалостливо очень говорил Борису о своей жизни лесоруба, о горькой доле, когда прожить не знаешь как с женой и сыном, зимующими без него.

– Езжай, говорю тебе, в Царицын! Бери вот деньги на дорожку. Бери! А в Царицыне ищи меня в харчевне. Там встретимся. Бороду мою запомни!

Зимовать, конечно, нелегко, если закрома пустые, если по двору – хоть шаром покати.

В долги влезть могли бы, ожидая Ивана с лесоповала, жена его Катерина и сын Андрей, если бы не заработки у них от случая к случаю: Катя прирабатывала на очистке конюшни старосты, а Андрей в сельской кузнице подрабатывал.

Ещё в детстве Андрея сельчане полюбили, когда он сказал, что мужику без земли, без лошади, коровы и плуга не прожить, детей не прокормить. Он всегда бегал среди взрослых впереди отца, что-нибудь обсуждающего с сельчанами.

– Ехать, что ль, нам косить сено, – спрашивали мужики, ехидно ухмыляясь, – аль дождик вдарит?

– Езжайте, – вполне серьезно отвечал, поглядев из-под ладошки на небо, – неделя выдастся сухая...

– Ну а кем ты будешь, когда с отца ростом станешь? – приставали к нему мужики, перемигиваясь. И он, не смущаясь, опять же серьёзно отвечал:

– Генералом буду...

– Погоди-ка! А видел ли ты генерала? Он, что? Бочарничает аль валенки подшивает?

– Э-эх вы! – смеялся Андрей. – Был такой Суворов! Про него на календарной картинке читал я отцу, как он через Чертов мост войска провел!

С того дня Андрея прозвали ещё и «генералом». Изба их стояла на отшибе, где сходились дороги: из других деревень, из леса и пахотных полей, а невдалеке, между зелёными холмами, бежал лесной ручеёк. Избу, стоявшую на пригорке, всю обдувало ветрами: северными, восточными и западными. С юга ветерок не шуршал на крыше. Но будто иной раз, обозясь, когда и ветра совсем нет, налетал на двор Бородовых вихревой ветер с юга. Кружится тогда пыль на этом месте чуть не до неба, взметнет вверх высохший навоз, да

и сбросит опять. Через неделю – опять. И пошел разговор, что тут дело нечистое, если после третьего вихря занемогла корова пришлось её прирезать. А вслед за коровой ни с того ни с сего ночью лошадь околела.

Иван намеки односельчан о лукавом духе, который по обличью и с рогами на голове, и с копытами на ногах, только отмахивался, хмурясь, и отправлялся на заработки. Часто из окошка избы поглядывали на дорогу, все ожидая кормильца, Андрей и Катерина... Вот уж ручьи сбежали по извилинкам, добрались из самых темных уголков дремучего соснового бора, где в оные времена Иван Сусанин был изрублен польскими панами, возгоревшимися желанием покорить Русь, прибежали к Волге. Вот уж слышны издалика пароходные гудки, а Ивана все нет и нет.

Голодно жилось. Надо идти Андрею в сельскую кузницу, думая все об одном и том же: «Скоро ли с лесоповала вернется отец?». Идет Андрей вперед, а поглядывает на дорогу: появится ли из-за леса отец?

Встретил Андрея кузнец, как и всех встречал – улыбкой. Шевельнулась небольшая бородка кузнеца с рыжей краснинкой. Темные усы и кругленькая низкорослая фигура так и манили на беседу каждого. Кузнец если и сердился, то не со злобой глядел на зажатую в клещах раскаленную подкову с искорками удивления в серых, с голубинкой, глазах. Он приговаривал:

– Ишь ты, подишь ты! Не отбрыкаешься! Откую, как надо!

Будет подкова!

Только шагнул в кузницу, а кузнец уж подмаргивает:

– Ой, в нужную минуту пришел!

Андрей по взгляду кузнеца догадался, какой инструмент брать в руки и что ковать будут. Такое не впервые. Поработали с часок и закурили из кисета кузнеца. У Андрея закружилась голова. И принялся кузнец говорить о том о сем: землицу, мол, какая у мужиков, всю запахали, засеяли, безземельному лучше бежать отсюда.

– Ты, Андрей, выйдешь в люди. Способен, силен, здоров, смекалка еще с детских лет у тебя есть. Я правду говорю... – убеждал кузнец.

Да в самом деле, откуда бы кузнецу знать? Он-то знал, а вот сельчане не знали, что из Иваново он вернулся в родное село и расстался с ткачами – неспроста. Там его уже искала полиция. Вот его товарищ Арсений, Михаил Васильевич Фрунзе, и послал сюда работать.

Большевики тогда начали делать крупные шаги в деревню: просвещать крестьян. Кузнец такому делу был обучен в подполье. Вот и заговорил с Андреем о том, что у кузницы не одни мужики поговорить, покурить останавливаются, бываюи и мастеровые. Дорога проезжая-прохожая. Народ бывалый. Они рассказывали, что в Царицыне оживленно. Царицын, говорят, город особенный на всю Волгу: железные дороги там схлестнулись – на Дон, Кубань, к Азовскому и Черному морям. И на Украину. Одного, говорят, антрациту

много пудов на баржи из вагонов сгружают. А еще больше с Дона и Кубани пшеницы. Плотов от нас туда гонют – тыща! Лесопилок в Царицыне уйма!

Взглянул на красивое худощавое лицо Андрея. Чуть-чуть выпуклые черные глаза светились добротой. Заметно выделялась бугристость над тонкими бровями Андрея, отчего лоб его казался малость надвинутым к переносице. Прямой нос, тонкие губы, плотно сжатые, придавали лицу строгое выражение, чуть гасимое добротой сияющих глаз.

– Катерина не супротивничала бы отъезду... – не унимался кузнец, то и дело сдувая пепел с сигарки.

– За отцом она в огонь и в воду.

– В огонь и в воду! – воскликнул кузнец. – Ишь ты, по-дишь ты, какой счастливый!.. Иные бабы... о! Взъерепят-ся и дыхнуть не дадут. Езжайте, говорю, в Царицын. Это город не какой-нибудь... Ха-ха! Вот и Катерина избавится от батрачества на лавочника, на старосту. Не век ей конюшни у них чистить, навоз лошадиный нюхать. Эх, весна! Уходит она, лето подваливает в леса! А ты не тоскуй по землянике, орехам...

\* \* \*

Весна в самом деле была дружной. И в Петербурге начало теплеть.

В одну из ночей жандармы разгромили подпольную типо-

графию большевиков. Произвели обыск и на квартире Клавдии Андреевны, допытываясь, где же ее приемная дочь. Фотокарточку Наташи тут же взяли с комода и отдали присутствующему при обыске сыщику.

Ничего нелегального не обнаружив, жандармы все же оставили засаду, намереваясь арестовать Наташу, как только она появится на пороге. Жандармам и невдомек было, когда Клавдия Андреевна, жалуясь, что табачного дыма – хоть топор вешай, открывая форточку, сдернула с гвоздя на раме сине-желтую ленточку, видимую издали хоть в солнечный, хоть в туманный день. Ночью сигнал – темнота. В этой комнате до возвращения домой Наташи никогда не зажигали лампу. Если лампа зажжена, то входить в дом запрещено. Наташа, возвращаясь домой, заметила отсутствие сигнала, повернула за угол улицы и поспешила к Антону Григорьевичу, который был уже осведомлен о разгроме подпольной типографии и о том, что произошло в квартире Наташи.

– Провокатор оказался в рядах большевиков, – сказал Антон Григорьевич. – Значит, мы в ком-то ошиблись. Надо это учесть, догадаться, кто провокатор, хорошо все обдумать, запомнить на будущее. Наташу хотят арестовать... Вам придется уехать из Петербурга. Сейчас мы решим, куда и с каким паспортом. И это наша тайна. Не должна знать Клавдия Андреевна.

– Прошу направить меня в Царицын, – попросила Наташа и постаралась доказать резонность своей просьбы. – Если

переходить на нелегальное положение, – продолжала она, – если жить мне по чужому паспорту, так лучше там, где я все знаю: улочки, переулочки. Ведь там меня даже отец родной не узнает теперь.

Антон Григорьевич строго глядел в глаза Наташи, чуть раскосые, чуть насмешливые, чуть настороженные и какие-то умные, строгие девичьи глаза, ищущие во всем окружающем неожиданное и также хорошее, доброе.

– У меня возражений нет, – ответил Антон Григорьевич, – буду просить нашу группу большевиков принять такое решение.

В самом деле: в Царицыне металлургический гигант французской компании. Строится пушечный завод на английский капитал – «Виккерс и компания». Иностраный капитал проникает на Волгу. Именно в Царицын, где узел железных дорог, где лесопилок до тридцати, где паровые мельницы, маслозаводы, два паровозных депо. Среди тысяч рабочих большевику найдётся дело. Однако большевиков там как раз столько, сколько пальцев на руках.

Тут в мастерскую зашел какой-то человек, взял свои отремонтированные часы и ушел.

Глянули ему вслед и продолжили беседу большевики:

– Нам, Наташа, известно, что вчерашние студенты Чекишев и Иванов, теперь один из них – инженер горных дел, а другой – юрист, – ваши земляки, они из Царицына ведь? Что скажете на этот счет?

– А если они мне встретятся? Скажу, что была неудачно замужем. О революции думать забыла. Ну а у отца, у мачехи особенно, мне делать нечего. – Наташа искренне рассмеялась: – Все в былом, все во вчерашнем! Отец и не узнает меня. Не одиннадцать мне уж лет, а двадцать второй...

Наташа получила из рук Антона Григорьевича паспорт на имя Дорониной Зинаиды Андреевны и выехала из Петербурга поездом.

Словно в угоду желаниям Наташи, уже близ Царицына поезд мчался, как курьерский, огибая Мамаев курган. Наташа прильнула к окошку, увидела Волгу. И слезинки радости появились в глазах.

А вот и паровозное депо, привокзальные будки стрелочников, перрон вокзала: каменные, исчерблённые временем плиты. У входа в вокзал все тот же седоусый контролер. Он, почувствовав на себе пристальный взгляд Наташи, сказал:

– Добро пожаловать, барышня, в наш город! Доброго вам счастья! – и даже по-солдатски приложил ладонь к лаковому козырьку черной казенной фуражки.

Наташа кивнула ему, улыбнулась и подумала: «Добрый словом тут встретили меня... Эх, счастье, счастье...».

Не для себя одной хотела Наташа счастья. Она всегда думала, что не бывать счастьем у нее в доме, если вокруг столько бедных, обездоленных, голодных.

Сдавая теперь свой чемодан в камеру хранения, Наташа вдруг почувствовала себя прежней девчушкой. Казалось, что

она никуда никогда не уезжала из Царицына. Вот и привокзальный садик, круглый, похожий на волшебную карусель за штaketником, окрашенный по казенному красным суриком, тем самым суриком, каким обычно окрашивают товарные вагоны.

На углу коротенькой улицы Гоголя, перед Александровской площадью, по-прежнему аптека, в которой Наташа когда-то школьницей еще покупала мятные лепёшки.

А вон всё та же длинная вывеска «ЧАЙ ВАСИЛИЯ ПЕРЛОВА». На вывеске китайки под зонтиками, джонки-лодочки китайские под парусами. А вот магазин братьев Добиных, где тётя Клава, уезжая из Царицына, купила себе золотой перстенёк с аметистовым камнем. Перстенёк этот она потом подарила Наташе, когда та закончила учебу в гимназии. Поблескивает он на мизинце левой руки. Посматривает на него Наташа и думает: «Что теперь в Петербурге, у тёти Клавы?».

Наташе надо засветло добраться до металлургического завода, на Заовражную улицу, к Степанову. Путь неблизкий, и Наташа наняла извозчика. Калитку открыла Груня. Наташа, предупреждённая Антоном Григорьевичем, что дочь Степанова тоже подпольщица и знает пароль, спросила:

– Не у вас ли столуются студенты?

– Помилуйте, – ответила Груня, понимая, кто перед ней, но проверяя эту догадку, добавила: – Какие в Царицыне студенты? Это вам не Саратов и не Казань...

– А разве на практику к мартеновцам студенты не приезжают? – продолжала Наташа. – Мне бы комнатку или угол. Я приехала на практику...

Чуть улыбаясь, Груня пригласила Наташу в дом и спросила:

– Откуда вы?

Не успела Наташа ответить, как на пороге появился Сергей Сергеевич. Ему Наташа и вручила письмо от Антона Григорьевича.

Стало по-вечернему синеть за окнами. Груня, задёрнув занавески, зажгла лампу. Из-под зеленого абажура мягко упал свет на розовую скатерть. Остыл уже и самовар на столе, а расспросам, казалось, конца не будет. Но вот заговорили о делах большевиков в Царицыне, о том, что после расстрела рабочих на золотых приисках сибирской реки Лены образовалась на металлургическом заводе, принадлежащем французской компании, инициативная группа РСДРП.

– Подробнее узнаете потом, – продолжал Степанов, – когда обживетесь, оглядитесь. В пропагандистах у нас тут нужда. Особо в рабочей воскресной школе на нефтеперерабатывающем заводе Нобеля. Квартиру я вам устрою почти в центре города, за Астраханским мостом, в Арзамасском переулке... А работать где думаете?

– Уроками займусь. Преподавать отстающим ученикам английский язык. Так думаю... – ответила Наташа.

– Не получится. У нас тут один из товарищей замыкался

по городу из конца в конец, от ученика к ученику, а и двадцати рублей не зарабатывал в месяц. Уехал в Саратов... – сокрушался Степанов, – что-то нам надо придумать...

– Ничего придумывать не надо, – вступила в разговор Груня, – было в газете объявление: в контору Лужнина требуется секретарь, знающий английский язык. Торговый дом Лужнина на полмиллиона в год получает колониальных товаров...

– Завтра же схожу в эту контору... – торопливо сказала Наташа.

– Да-да! – продолжал Степанов и спросил: – А как с деньгами на харчи?

– На месяц хватит... – ответила Наташа.

– Это хорошо, – закивал головой Степанов и продолжал: – А то у нас в партийной кассе всего-то ничего. Может, кто и еще пожалует. Вдруг безденежный если? Через полмесяца станем побогаче, начнут поступать партийные взносы. А контору Лужнина вам Груня завтра укажет.

– На Анастасийской улице... – улыбнулась Наташа. – Там же и магазин, где я школьницей покупала турецкие рожки... Там?

Вот и узнали, что Наташа родом из Царицына, что она росла тут, пока мать была жива, пока отец не привёл мачеху.

– Из Петербурга тогда приехала тетя Клава и увезла меня, – закончила свой рассказ Наташа.

– А теперь как же? К отцу пойдешь? – спросила Груня.

– Зачем? Не видела его десять лет и видеть не хочу, – от-

ветила Наташа. – Он заставлял меня целовать след мачехи...

– Ужас! Какой ужас! – возмущалась Груня.

– Вы мне роднее родных... – прервала все рассуждения Наташа и добавила: – Надо не забывать, что я теперь на нелегальном положении, что я уже не Наташа, а с паспортом Зинаиды Дорониной.

Степанов расшагался из комнаты Груни в кухню. Останавливался на миг, разглядывая Наташу. Он улыбался. Ему было весело.

– А не доводилось ли вам, Наталья Владимировна, встречать у Антона Григорьевича в его мастерской кого-нибудь из Царицына? – спросил он.

Слушая рассказ Наташи о встречах с Борисом у забора Путиловского завода и в ювелирной мастерской, глаз не отводил, ловил каждое слово. А дослушав, сказал озабоченно:

– Грустно мне, как подумаю о Борисе, заброшенном судьбой в северные края, с Борисом рядом всегда надо быть кому-нибудь из нас. Предостерегать, чтобы он не сбивался с пути большевика. А парень он хороший, отважный, смелый парень...

А чего было беспокоиться о Борисе? Он уже во многих городах Вологодской, Костромской, Нижегородской губерний побывал. Все села и деревни, где ручной промысел, исходил, изъездил, прикидываясь скупщиком ложкарного товара – свистулек, половников, раскрашенных под золото. На лесоповале Борис встретил Ивана и, выслушав его рассказ

о тяжелой жизни, посоветовал ехать в Царицын. Там жилье найдется. И работа найдется!

– Есть там харчевня около Вознесенской церкви. Там меня увидишь. В харчевне той. Там все сезонники сходятся.

...Изумились Андрей и Катя, услышав долгожданный голос Ивана, темной ночью пришагавшего с лесоповала.

– Узнал я, что есть город Царицын – так там можно хорошо зарабатывать! Вот туда поедem жить.

– Соберем вещички и в путь, к новой жизни.

– А с долгами как быть?!

– Я у кузнеца в подручных работал... Все соседям роздал долги... – ответил Андрей, вызвав довольную улыбку отца.

Иван шагнул за порог, сильно толкнув ветхую дверь российской бревенчатой избенки, уже падающей одним углом, полугнилой, с запахом, напоминающим трехсотлетие Дома Романовых.

Решительность отца, его насмешки над пустым столом, проклятия лавочнику и старосте развеселили Андрея. Он и закуривать не стал, как обычно спросонья. Шел и дышал лесным воздухом. Радовался, что характер отца круто меняется.

На зеленой полянке за околицей села, где начинался сосновый бор, Андрей приостановился и без сожаления подумал: «Теперь уж без меня сойдутся на Петров день парни и девки плясать и песни петь на этой вот лужайке... Ну, что ж!...».

Глянула на полянку Катерина, вспоминая первую встречу

тут с Иваном, самым ловким и сильным тогда парнем на селе. Вот как годы летят – будто вчера была первая встреча, а минуло уж более двадцати лет...

Иван тоже взглянул на лужайку, место своей ушедшей молодости, когда тут встретил Катю, девицу привлекательную, да еще в венке из всяких цветочков. «Словно царица она выглядела тогда, – подумал Иван, поглядев на жену. – Всем девкам была девка!».

Грустное лицо Андрея повеселело; картуз лихо сдвинут наискосок к затылку. Это Ивану пришлось по душе. Тоска по дому, покинутому навсегда, неведение о предстоящем отлетели куда-то. Он любовался сыном.

– Чего загорюнилась-то? – спросил Иван жену, желая подбодрить. – Поневоле побежишь от нужды куда глаза глядят, – продолжал он, то пощипывая курчавую бородку, то покручивая усы. – Аль забыла, как мы кланялись до земли, просились в кабалу за пуд муки, за полпуда пшена, за бутылку подсолнечного масла. Втроем отработывали долги каждый год!

Иван оглянулся, но деревни уже не было видно. А впереди меж деревьев чуть виднелось светлое пятно. Там дорога круто сворачивала. Шорох шагов и голоса отдавались в лесу.

– Чуешь, Андрюша, как весело повеяло от Волги? По-особому чем-то... – сказал Иван сыну. – Царицын на ее берегу. Каждый час будем видеть реку.

Андрей, занятый своими мыслями, молчал. Катя опять отстала. Иван, бросив мешок на траву, присел. Андрей по-

шел было вперед, но остановился, когда окликнул отец:

– Ну, зашагал! Вразброд идем. Не к добру!

Когда Катя подошла к ним, спросил ее:

– Что ты нехотя плетешься? Не больна ли? Присядь, отдохни...

– Ноги не идут. Может, вернемся? Я не отстану от вас, если даже бегом... – проговорила и присела, сдернув с головы платок, обнажая белый высокий лоб, чуть изогнутые брови, которые подчеркивали не сразу угадываемую строгость карих глаз, спрятанных за густыми ресницами.

Катя – женщина стройная. Иван за всю жизнь с ней не слышал жалоб на нездоровье. Выйдет она, бывало, на жатву, залюбуешься сверканием в её руках серпа. Глядишь, и обогнала всех в работе. Встанет ли в пору сенокоса в ряд с мужиками – глаз не отведёшь: до чего же легки взмахи её сильных рук. Она словно никогда не уставала, и говорили не раз староста и лавочник, на которых шла работа, говорили, будто бы с сожалением:

– Всем взяла Катя! И красотой, и силой, но за бедняком живёт. Вот и приходится ей тянуть воз. Такую красавицу лелеять бы...

С той поры Иван стал думать о том, как бы ему суметь разбогатеть да жену принарядить, а то и совсем отлучить от работы на богатых. Назло им посадить бы разнаряженную жену на завалинку около новой семиоконной избы и насыпать в сарафан подсолнечных семян:

– Грызи! Отплёвывайся от всех!

Вот так и жилось бы отлично!

А теперь вот подошли к Волге. Солнце свысока пригревало косогор, с которого начали спускаться к подножью, где стояли бревенчатые сараи-склады, почерневшие от времени, да лавчонка со съестным. Покачиваясь на волне, стояла обомшелая, невзрачная пристанёшка.

Андрей ну просто-таки сиял. Радость, что вот и сбывается мечта, когда будто не пароход круто поворачивает, а сама судьба, заставила так стучать сердце, словно Андрей не шёл по лесу до берега Волги, а все тридцать вёрст бежал и бежал.

На пристанском базаре, шагая по мелким камешкам, купил каравай ржаного хлеба, рыбы, картошки, огурцов.

– Вот харчи, – сказал он Кате и, втиснув каравай в мешок, продолжал: – Ещё купим.

Вскинув мешок на плечо, первым пошел по мосткам на пристань, там он купил билеты.

А тут и пароход подвалил к пристани. Качнул её. Матросы бегом, пригибаясь под ношей, начали таскать на берег, в склад, мешки с пшеничной мукой. С берега они легко, с прибаутками, несли на пароход рогожные кули, пучки деревянных обручей и плетённые корзины.

Хозяин корзин, расстелив рогожу на палубе парохода, распаковал самую маленькую корзиночку, разложил товар: раскрашенные под позолоту деревянные игрушки, сахарницы, половники, и начал зазывать покупателей, будто распо-

ложился на сельской ярмарке. Сразу же около него столпились пассажиры. Андрей поглядел на продавца игрушек и улыбнулся тому, как деревянные ложки в его руках выступывали плясовую:

Во саду ли, в огороде,  
Дед картошку роет,  
А маленькая бабушка  
С лукошкою ходит!

\* \* \*

Андрей подумал, не иначе этот синеглазый бородач умец-игрушечник из-под Юрьевца. Там таких пруд пруди.

А был этот игрушечник-бородач не мужиком, а парнем двадцати двух лет, родом из Царицына. Жил он по чужому паспорту, именуя себя Петром Волошиным, крестьянином Вологодской губернии, жил и посмеивался.

А крутые, густо покрытые лесом берега, казалось, уплывали туда, где осталась замшелая сельская пристань, где по косогору петляла тропинка, на которую, как думалось Кате, никогда не ступить. Она украдкой смахнула уже не первую слезу.

Почти незаметно покачиваясь, скользит с волны на волну

пароход.

Присев на канатный круг, вдыхая смолистый запах пакли, Андрей прислонился к свертку брезентового тента и задремал. Проснулся он, когда в рассвете обозначились берега: левый и правый, еще темные, покрытые лесом. Чувствуя озноб утра, прохладу от брызг волн, то убегающих от парохода, то наскაკивающих на него, Андрей ушел с кормы. На него пахнуло теплом из машинного отделения. Постоял, поглядел Андрей, как плавно взлетали и опускались шатуны паровой машины, двигая колеса парохода, и пошел по палубе четвертого класса, среди спящих мужиков, женщин, детишек. Перешагивая через них, всматривался он, куда бы ногу поставить, чтобы никому из спящих руку не отдалить. Отца и мать он застал за скучной беседой.

– Как в Царицыне жить будем? – спрашивала Катерина.

– Жить? Известно уж сто лет – работать будем, а может, богатство в наши руки свалится.

– И в прежние годы и ныне об одном и том же, – сердито глянув на мужа, сказала Катя и отвернулась.

– Есть же ведь люди, – продолжал Иван, как только Андрей присел рядом, – есть такие богачи, у которых в руках миллионы рублей... – он толкнул сына локтем, – есть, а? Есть! Приеду в Царицын и нагляжусь там на таких вдоволь. Это ведь какие люди! – с завистью в голосе говорил Иван.

– Люди? – с усмешкой произнес Андрей. – Нашел кем любоваться! На рабочий люд любуйся! На настоящих людей!

– Ну, ну! Распошел! Взял себе в голову, что умом будто бы богат... А разбогатеть, говорил я и говорю, – надо суметь по-настоящему. Значит – денежным стать!

Андрей молчал. Он загляделся на Нижегородский откос, весь в разноцветии. Глаз не мог отвести он, как только завиднелся Нижний Новгород, а слева – заросшее лесом неоглядное Заволжье. Справа – река вливалась в Волгу. И казалось – разлилось тут море неоглядное.

По Волге торопливо сновали маленькие пароходики, розовые и белоснежные, с зубчатыми парусиновыми тентами над крошечными палубами. Пароходики весело пересвистывались, перекликались – будто шёл весёлый праздник. На удивление всё тут выглядело праздничным. Корму парохода круто занесло, спрятав зелень Заволжья. Наваливался на причалы откос волжского города, знаменитого своими ярмарками, коль сюда съезжались купцы из всех заморских стран.

Вот где предстояло семье Бородовых сойти на берег и отыскать причал, от которого пароходы уходили вниз по Волге.

Чтобы не затеряться в толпе, запрудившей узкую пристанскую улочку, вымощенную неровным серым булыжником, Катя шла рядом с мужем, держась за рукав его рубахи. Шум около лавчонок, прижавшихся одна к другой так, что между ними не проскользнуть, выкрики торговцев и торговок, зазывающих купить съестное и кожаные ремни, обувь гам-

бургскую и ярославские картузы, были непривычны. Впервые все это увидев, она часто осеняла себя крестным знаменем, шепча молитву.

То и дело кто-нибудь налетал на нее. Вот какой-то господин в очках толкнул ее, выпучив глаза, заслышав гудок, поспешил на пароход.

Андрей, поглядев, как торговец позолоченными игрушками получает сразу за все корзины деньги серебряными рублями, пошел было рядом с матерью, а потом, когда ее опять кто-то толкнул, вышел наперед. И стоило кому-то заглядеться на ходу и вот-вот столкнуться с матерью, как Андрей подставлял свое сильное плечо, озлобленно встречал зеваку, да так, что тот отлетал в сторону, бормоча что-то себе под нос.

А над Волгой уже летел третий гудок. Отдали с причала чалки. Семья Ивана успела на пароход. С пристани провожающие махали руками и кепками. Кто-то держал плачущего ребенка, кто-то играл на гармонии.

За кормой парохода, вспениваясь, убегали волны. Смутно высились над крышами домов верхушки минаретов. Виднелись купола церквей: мрачно-синие луковицы с воткнутыми в них сверкающими крестами.

Мелькнули красный и белый бакены. Казалось, не пароход бежал, отмеривая версты, а бакены плыли и плыли ему навстречу, плыли в брызгах волн, покачиваясь, будто готовые нырнуть, скрыться в воде от бесконечного покачивания, мерцания сигнальными огоньками.

Плыли и плыли бакены мимо парохода, а потом, уменьшаясь где-то вдаль, исчезали, будто и не нужные. И опять впереди – они же!

\* \* \*

Спал Борис на корме, неподалеку от Андрея, среди схожих с ними пассажиров, старых и молодых. Каждое утро слушал их рассказы о том, что и кому приснилось: одному изгородь из жердей, огород с изумрудно-зелёными стручками гороха, другому – перелески, тропинки с холма на холм, третьему – бревенчатые избы и девушки у колодца с коромыслами на плечах. Борис видел во сне Наташу. Снилось она ему часто. Марию не видел, хотя вспоминал и расставанье с ней на вокзале, и всё прежнее.

В Дубовке многолюднее стало на нижней палубе. Громче слышались говор и смех. На пароход нахлынули лоточники, возвращаясь с ярмарки. Они назойливо предлагали покупать у них губные гармошки, привлекающие многих своей нарядностью и блеском никелированной отделки. Ну а кое-кто покупал и игральные карты. Девушки наперебой раскупали атласные ленты: розовые, темно-синие, оранжевые. Ну и шпильки, булавки.

Веселее и сапожник начал постукивать своим молоточком, починяя кому-то ботинки. Порой он вскидывал на снующих мимо него свои озорные, колючие голубые гла-

за, встряхивая падающими на лоб волнистыми волосами, блестящими как спелый каштан. Борода и усы, черные как смоль, оттеняли и блеск его глаз, и смуглые щеки. Хитро посмеиваясь, он веселил народ прибаутками:

– А ну, кому из вас подали карету, чтобы счастье искать по белу свету?! Ну, вы, бедные странники земли российской, у кого пятак, у кого гривенник? Кому набойки, кому подметки? Такие подобью, что за год не сносишь, обут будешь, пока работу не отыщешь!

Пароход обошел последний перед пристанью бакен. Андрей видел, как вода, набегая на него, бурлила, будто стараясь сорвать, унести в какой-то омут, а бакен вцепился якорьком в песчаное дно реки и не сдавался, раскачивался на якорной цепи, раскачивался то влево, то вправо, потом замирал на миг и снова качался, качался на воде.

Послышался гудок встречного парохода. И гудки, отраженные эхом, множась, улетели в Заволжье нарушить хоть на одно мгновение застоявшуюся там тишину.

Пароходы разминулись, и Андрей увидел Царицын на крутом берегу. Где-то дальше смутно вырисовывалась гряда холмов и курганов. Царицын растянулся вдоль берега серой узкой лентой деревянных и каменных домов. Три церкви на откосе сразу бросались в глаза. На одном конце города дымили трубы металлургического завода. На другом – тонкие трубы лесопилок. У причалов стояли буксирные пароходы. Много их было. Тяжело покачивался на волнах большой

плот. И опять, уже ниже пассажирских пристаней, почти у самого берега стояли на якорях и у причалов баржи, пароходы и плоты, плоты...

Пароход приткнулся к борту пристани. Проскрипели со скрежетом причальные брусья. Катя встала с канатного круга, глубоко вздохнув. Иван, будто ждал этого, вскинул мешок на плечо и сказал:

– Вот и приехали! Как бы не растеряться, – и оглянулся, – пошли!

Борис, сунув свой сапожный инструмент – молоток и клещи – в зелёный сундучок, нахлобучил картуз, а разгибаясь, взглянул из-под козырька на Ивана. Посмотрел и на Катю, покорно идущую за мужем. Понравился Борису Андрей всем обликом, сильными плечами, походкой.

\* \* \*

Все спешили на берег, будто Царицын для каждого станет в этот час, именно в этот час – благодатным приютом.

Словно в Царицыне и рай земной. И шей для голодных – котлы полны. Бери, хватай ложку, горбушку хлеба – и наедайся за всю голодную дорогу.

Царицын для многих обездоленных казался благодатным приютом. Вон баржи! Вон плоты! Были бы плечи и спина негнушимися.

Да, Царицын мог быть благодатным. Чем же еще? Ведь в

Царицыне было тогда пятьдесят два большущих дома, пятьдесят две богатые семьи. Тринадцать миллионеров. Неужто они только о себе и думали? А?! О себе только заботились. А?! Разве о нуждах народа, о бедных, нищих, бездомных не знали?

\* \* \*

Оставив свой сундучок в пристанской камере хранения ручного багажа, Борис поднялся на набережную Царицына по одной из пяти деревянных крутых лестниц, отшагав сто двадцать семь ступенек, скрипучих и гнущихся под ногами, полугнилых. И присел на краешек садовой скамьи.

В тот ранний час, когда еще не каждый бродяга выполз из кустарника, чтобы отправиться на берег Волги, к пассажирским пристаням в поисках куска хлеба, Борису было не по себе. Он часто сжимал кулаки. Не радовало его что-то возвращение в родной Царицын.

Какое-то настроение чего-то забытого, чего на пароходе не случилось, тревожило его. Может, негодование, что пока ещё не отомстил за Григория Григорьевича, что так и нет полной удачи в этом? А вдруг подленькое чувство страха, что вот, мол, сам теперь притопал к концу своей судьбы? Тут вот, на родимой земле, наденут кандалы на ноги, руки в железо закуют?

Он огляделся.

Девушка торопливо прошла мимо, чем-то напомнив Наташу. Парень, хлыщ какой-то, размахался на ходу тросточкой с никелированной ручкой, двадцатикопеечной. У парня чуб, явно закудрявленный у парикмахера за пятак.

Сиротливыми, малюсенькими показались Борису на круче Волги церковки Святой Троицы, Иоанна Предтечи и старинный собор Успения. Приземистыми и угрюмыми были они. Оползни подбирались под их алтари.

Пароходные гудки отвлекли Бориса от мрачных, невеселых раздумий. Волга чуть видимой с кручи волной всё же смывала грусть. Борис глянул на заволжский берег, в ту сторонку, где виднелся среди девяти столетних осокорей хутор Букатин, а правее – хуторок Бобыли. Борис вспомнил и маленькую избёнку там, в погребке которой была подпольная типография большевиков Царицына. Загляделся на Волгу.

Пароходик «Ласточка», такой знакомый, молотит плечами по быстрой вешней воде. Подгребает белые волны под себя, торопится, торопится. Но ни с места. Но вот сорвался будто, повернув вниз по течению. Выбрался на стрежень реки. Поволок паром. На борту парома мальчишки сидят, свесив ноги.

Ну, все как и было. На палубе парома – люди, лошади, верблюды. Телеги с задранными к небу оглоблями. И два полицейских, да еще урядник казачьего Войска Астраханского.

«Непременно надо будет, – думает Борис, глядя на паром, – побывать за Волгой. Побродить там по лесу... Ланды-

ши, может, еще не все отцвели. Набрать бы букетик. А для кого?».

Подумал об этом и посуровел: «А какково живется Марии? Как с ней быть? Вот оно, оказывается, что тревожило. Вот оно что! Вот оно – нерешенное, когда в душе еще и Наташа. Нужны ли тайные встречи с Марией? Что толку от них?»

И, не зная, как вскоре поступит, рывком встал со скамьи, крупно зашагал.

На пустынную, безлюдную в тот жаркий летний день. Заовражную улицу Борис пришел все неуспокоенный еще, с неровно бьющимся сердцем. Но он сразу же овладел собою, завидев домик.

– Водички бы, хозяин, испить, – сказал Борис, когда на его стук щеколдой калитки появился Степанов. – Водички напиться... – закончил Борис окающим вологодским говорком.

– Теплая... Утром принесенная.

– Давай хоть теплую. Жара-то какая! – уж не меняя голос, сказал Борис и рассмеялся, шагнув во двор.

Степанов попятился от калитки, пропуская гостя, и зашептал:

– И не узнать! Какой ты бравый! – и, закрывая калитку, продолжал удивляться: – Ну и ну! Какой бородач! Прямо Степан Разин, удалой! Заходи, сейчас Груня как раз самовар подогревает. Чайку с дороги дальней попьешь... Эх-ма, борода!

Груня видела в окно идущих по двору и вышла в сени, с любопытством посматривая на Бориса. А когда признала его, неожиданного гостя, то не удержалась взять его за бороду и, смеясь, сказать:

– Ну и лопата черная! Ты ее, Боря, каким клеем приклеил? – и потянула за бороду посильнее, спросив: – Дернуть можно?

– Чего ты, дочка?! Не глупи! Подавай на стол самовар! Где крендели с маком, которые Борис любит?!

Вначале всё же закурили. Степанов трубку, а Борис папиросу. Глянули друг другу в глаза.

– У матери был? – спросил Степанов. А когда Борис отрицательно покачал головой, продолжал: – Ночевать у меня нельзя. Идёт упорный розыск беглого солдата, полиция побывала и у твоей матери. Но навестить её необходимо! – Взял Груню за руку и сказал: – Чаем угощать Бориса буду я. А ты ступай, скажи Дмитриевне, что Борис явится к ней часа в два ночи... Постучит в ту стену, которая над оврагом. Иди!

Груня, сунув в карманы юбки клеш два кренделька, остановилась у двери, рассматривая пытливо ещё раз Бориса, думая о том, каким она должна обрисовать Глафире Дмитриевне её бородатого сына.

К стакану с чаем Борис и не притронулся, увлеченный своим же рассказом.

Степанов, слушая, ходил от стола в горнице до дверей кухни медленными шагами. Задумчивый, он всё приглаживал

свои ершистые волосы то одной, то другой рукой. Выслушав, сказал:

– Пойдешь работать на берег... Вот так-то!

– На берег? Хорошо...

– Объясню. Группа большевиков Саратовского комитета РСДРП рекомендует организовать подпольные кружки среди сезонников. Пускай сезонники осенью из Царицына увезут в села и по деревням правду о большевиках... Ну а ты... среди десятка тысяч сезонников – невидимка для полиции...

У Степанова Борис пробыл до позднего ночного часа. В подробностях обсуждали и делали наметки, с чего же начать пропаганду среди грузчиков, сезонников. Все мечтательно говорили о том времени, когда и сезонников можно будет организовать.

– Выковать бы профсоюз: «Грузолес»... Ведь грузчиков леса на берегу Волги до пяти тысяч! Сила!

Однако не узнал Борис о делах большевиков на металлургическом заводе. О делах большевиков центрального района Царицына. Если бы речь зашла об этом, конечно, Борису стало бы известно, что Наташа приехала из Петербурга в Царицын, работает в конторе Торгового дома Лужнина и занята пропагандистской работой в воскресной школе рабочих на нефтеперегонном заводе Нобеля.

Степанов не спешил с такими сообщениями из конспиративных соображений.

Проводили Бориса не через калитку на улицу, а отодви-

нув в заборе на задворках одну из досок, у спуска в заросли камыша. Тут был тайный ход на другую улицу, через овраг.

Про Ерофея они в тот час и не вспомнили.

Ожидая сына, о скором появлении которого сообщила Груня, Дмитриевна обдумывала, как бы это суметь так рассказать Борису про Марию, чтобы не опечалить его.

Не зажигая лампы, Дмитриевна присела вплотную к задней стене домика и всё ждала, когда же заветный стук раздастся. Слушала, когда же сын стукнет в стену родного дома.

Дождалась.

Могла ли она, встретив сына в эту темную ночь, не заплакать? Не заплакать, если слезы навернулись сами на глаза материнские, сердцу не заказано, каким быть в такую минуту. Она с трудом выговорила:

– Полиция приходила много раз... тебя ищут...

– Ты, мама, ведь не на похоронах... Выкажи радость...

– Они говорят, что ты беглый солдат...

Нашлись у матери силы выполнить эту просьбу сына:

– Борода-то, усы какие! – сказала она, утирая фартуком свои слёзы и стараясь улыбаться. – Гляну, Боря, на тебя такого, с усами и бородой, а вижу твоего отца. Только ты в плечах пошире. Ростом богатырь, – и распошла-пошла без удержу вспоминать былое свое счастье: – По воскресным дням, бывало, – заулыбалась не такая уж старая мать, – мы с твоим отцом – ни на шаг друг от друга. А он все с шуточками-прибауточками выхаживает вокруг. Вот был у меня муж! Золо-

той человек! Друг!

Глафира Дмитриевна загрустила. Опять смахнула слезы. Стряпая, она тяжело вздыхала, тиская тесто руками, торопясь угостить сына пирожками с изюмом.

О! Пирожки были изумительно вкусными. Домашние. Не из харчевни. Борис просто пьянел, поедая торопливо один пирожок за другим. Изюминки в них казались ему похожими на тоскующие глаза матери. Но вот она рассказала сыну обо всём, что слышала про Марию.

Дмитриевна ожидала вспышку гнева.

– Что ж мне теперь? – как-то безразлично произнёс Борис, – с крутого берега и в воду? – и усмехнулся: – Значит, Машка в богатом доме жить захотела. Наряды шелковые, золотые серьги привлекли её... Спать пора! – закончил Борис. – Уйду из дома перед рассветом. На берегу Волги поселюсь. Тебя навещать буду только ночью. А может, товарищей присылать буду...

Борис вольготно разлёгся на кушетке, которую когда-то своими руками смастерил, отполировав ножки её точёные в узоры, словно дубовыми листьями покрыл.

Он сразу же уснул.

Дмитриевна же глаз не сомкнула. Босоногая, чтобы не шаркать по полу чувяками-шлепанцами, она то к порогу пойдёт взглянуть на сапоги сына, чтобы, сунув руку в них, прощупать – нет ли чего там: песчинки, камушка в носке сапога или под пяткой, что натрут сыночку ступню; то вернёт-

ся к стулу около кушетки взглянуть на пиджак, чтобы проверить, все ли пуговицы пришиты как надо. Рубаху надо ведь прощупать, просмотреть. А то, затаив дыхание, нагнётся к сыну, разглядывая его лоб, что-то уж не по-молодому наморщился. Глянет на бороду, на усы. Глубоко вздохнёт, охнет, переведет дух и, зажимая себе рот, начнет всхлипывать.

Когда она решала, будить ли сына на рассвете или еще дать ему поспать, Борис вдруг, словно и не спал, веселым голосом, а не голосом спросонья, сказал:

– А я счастливый... Ей-пра! Мечтал побывать под отцовской кровлей, повидаться с матерью... И получилось! И ещё получится!

Борис подошёл вплотную к матери, обнял её, а затем, чуть отстраняя её от себя, молча глядел ей в глаза, как бы стараясь проникнуть в душу, угадать материнские мысли.

Помолчав, он сказал:

– Главное, мама, не унывай. И запомни, что сын твой работать будет на берегу, на разгрузке барж, белян, плотов, а жить среди наезжего в Царицын народа, но упаси тебя Бог искать меня среди грузчиков. По твоему следу жандармы пойдут, и кандалы мне на руки!

Уверенность в голосе сына, его бодрое настроение развешили Глафиру Дмитриевну. Без печали в глазах смотрела она Борису вслед, любуясь его твердой, гордой походкой, с кинутым на плечи пиджаком.

На улице чуть светало. И ни единой души.

По берегу Волги стлался дымок от костров: рыбаки смолили свои лодки и проваривали снасти. Солнце только вот-вот приподнялось над лесом Заволжья, а на городском берегу уже многолюдно. Особенно у пассажирских пристаней, куда Борис направился за своим зелёным сундучком.

Тут глазом не окинуть ряды лавчонок со съестным. Уши хоть затыкай от возгласов:

– Чибрики в масле кипят!

– Жарим-варим! Берегись, а то ошпарим! Требушина варёная, печёнка, гусёк! С капустой, с гречкой! Подходи и друга подводи!

– Накормим, напоим, под лодкой спать уложим. Эй, бородач, сюда!

Борис оглянулся.

– Посмотри, какая у нас девка щи подаёт, – продолжали заывать в лавчонку. – Одни брови – рупь! С её губ счастье слизнешь. Ходи сюда! Эй, бородач!

«Чего я им дался?» – подумал Борис и ещё раз огляделся: один ли, мол, я тут бородатый?

Трое калек: двое на костылях, третий слепой, – были тоже бородатыми. Они выбирали место, где бы присесть.

– У дороги сядем, чтобы народ не миновал нас. Накидают по копейке на харч, а? – спрашивали они друг у друг.

Слепого, с Георгиевским крестом на полинялой гимнастерке, Борис еще на пароходе заметил, да и рассказ его запомнил:

– Ходил я в разведку под Льяояном, – рассказывал он, – япошки схватили меня и выкололи глаза. Офицер ихний по-русски говорил и посмеялся: «Ищи теперь, безглазый, свою Русь, дорогу к своим. Сдохнешь, как собака, не дойдёшь...» – и отпустили.

Солдат тогда дорогу к своим искал так: почувствует припекающий луч солнца на левой щеке, поворачивает чуть вправо. Застигнет солдата ночь – ждет рассвета. Взойдет солнце, и опять оно, родимое, солнышко ведёт его к своим однополчанам. Вот и добрался солдат до краешка своей судьбы, чтобы в Царицыне, на берегу раздольной Волги-матушки реки, присесть с нищими у дороги и запеть:

Плещется Желтое море,  
Волны сердито шумят,  
Бьётся с неравною силой  
Гордый красавец «Варяг».

\* \* \*

С вечера всё глядели на сверкающие в окнах ресторана «Чайная биржа» электрические огни, что отражались в мелководной речке Царице и в глубоководной Волге.

И глядели долго, удивляясь тому, что даже ночью в Царицыне света электрического хоть десятка на два деревень.

Глядели и молчали. Ничего не сказал Иван, молчала Катя, задумчивым был Андрей.

Проснулись они раньше, чем солнце пригрело их. Голод заставил ворочаться с боку на бок. Голодному человеку какой же сон. Андрей если в деревне переносил терпеливо недоедание, то здесь заговорил:

– Щец бы и краюшку ржаную... Хоть холодных щец бы похлебать...

Иван смотрел на нищих, сидящих в два ряда у церковной паперти. Он видел, как идущие в Божий храм молельщики подавали нищим кто что: булочки, пышки, ватрушки, крендели.

Хоть Андрей и заговорил про хлеб и щи, Иван не двинулся с места, не пошёл к паперти, чтобы встать там в ряду с нищими, протянув руку. Жизнь на новом месте он хотел начинать не нищенствуя, не попрошайничая Христа ради. Храбрясь, он молодцевато тронул свою курчавую бородку, усы и сказал:

– На базар дорогу узнать надо... Дело надумал я...

Когда они пришли на базар, Иван присел на корточки у дверей часовой мастерской, достал из кармана завёрнутые в тряпочку две свои серебряные медали, полученные в Маньчжурии за отличную артиллерийскую стрельбу, и продал их часовых дел мастеру, спросив у него, где найти квартиру?

– Топай по Астраханской улице до Камышинского взвоза... Спрашивай Девичий монастырь. Потом спрашивай ба-

ню Чернова. Там такие аулы по оврагам, прозванные Капказом, что и квартира найдется, и работа на лесопилках...

– Запомнил, Андрей, как идти-то, а?

– Запомнил... – ответил отцу сын.

Катя устало поплелась позади. Ни на кого она глядеть не хотела. Ни на рысаков, ни на барынь под шелковыми зонтами. И Волгой уже перестала любоваться. Заглядывалась она на телеги, тяжело гружённые мешками с мукой. Вздыхала с сожалением и думала: «Безжалостные люди в Царицыне. Понукают лошадок кнутом, заставляя тянуть телеги без передышки... А ведь гора крутая. Из-под копыт лошадок аж искры. Ох, жизнь!».

Добрался Иван с семьёй до Капказа. По склонам оврагов и на дне их одна над другой, словно сакли горцев, лепились хатенки. Не избы, а хатенки, глиняные мазанки.

Катя всё чаще посматривала на мужа, а он не то чтобы растерялся, наталкиваясь на неудачи и первые городские обиды, а просто спешил хоть где-то как-то пристроить свою семью и трудиться, трудиться, не разгибая спины. Оказаться бы под крышей, тогда и работу искать – мечтал он.

– Где тут снять квартиру? – спрашивали встречных, пока какой-то угрюмый мужик не указал пальцем на хатенку:

– Вон, вторая от угла, – громко ответил он и пошел своей дорогой.

На стук в окошко вышла приветливая женщина лет сорока.

– Заходите, заходите... – пригласила она и пошла впереди, оставив открытыми двери сеней. – Видите вот угол – размещайтесь. Одна живу, – торопливо поясняла хозяйка. – За месяц вперед будете платить. А сейчас деньги на стол клади...

Взяла она деньги и заторопилась, сказала им, что могут и самоваром пользоваться, а если захотят сварить, то на шестке:

– Вот вам и таганок! – закончила она, уходя.

– Пшено у нас есть, вода в хозяйском ведре... – повеселел Иван, обращаясь к жене, – дрова в сенях. Андрей чурбачков наколет, заварим кашу...

Недоварилась ещё каша, как вернулась хозяйка. Глаза её куда как весело блестели. Сбросила она с головы платок на свою кровать и занялась принесённой покупкой: на стол положила небольшую селёдку и поставила шкалик водки. С полки взяла луковицу, хлеб и, широко улыбаясь, по-мужскому ударила доньшком шкалика о ладошку, вышибла пробку, несказанно удивив Катю.

Гундося себе под нос что-то похожее на песню, хозяйка дома налила себе в стакан водки, чуть покрыв доньшко. Затем четыре раза ещё проделала такое, сказав:

– Пить водку надо умеючи... Можно сдуру и стакан выглохтать без проку... А надо с прощупью, впрок, по напёрсточку. Бедным так-то. Богатые могут пить стаканами. По напёрсточку если пить, со шкалика на песню поманит...

Спеть вам? – и запела:

Надо жить – не тужить —  
Так-то легче прожить!

\* \* \*

Хоть и предложила хозяйка подсолнечное масло в кашу, но никто не притронулся к стеклянной баночке. Поели кашу сухую, под обрывки начинаемых и некончаемых песен. Хозяйка вдруг сказала Ивану:

– Давай, куплю тебе водки! И живи весь месяц, как у Христа за пазухой. Пойду еще водочки принесу. Выпьем вместе. А если не ревнивый, я для Кати тут одного старичка доставлю. Он страсть как любит деревенских бабёнок. Он с подарками придёт. Он такой шутник, балагур старый, гармонист! А? Ты у него и денег займы бери! Он, если три стакана водки выпьет, – распростой-простой на деньги. А затем мы ему вольём в глотку четвертый стакан водки, да и выволокем за ноги к чужому забору... а? Там мы и опустошим его карманы...

Иван, хмурясь, ответил:

– Мы непьющие... Запах водки не терпим!

– Такие-то вы?! Не нужны! Уходите! Вон! Я тут хозяйка!

Этот дом мне принадлежит. Полицию позову, а выгоню вас,

бродяг!

– А ты, тётка, кто?! – шагнул к ней Андрей, побледнев. – Ты кто? Ты ещё и не знаешь, что ты – урод! Не знаешь ты, что тебя уродом купцы сделали, когда ты ещё девкой была...

Хозяйка кинулась к зеркалу. Взглянула на своё отражение и разразилась по базарному пьяным хохотом:

– Ты урод! – плюнула она в сторону Андрея, – бродяга бездомный! А на меня мужики ещё и теперь засматриваются! – кричала она. – А вы?! Кши из моего дома! Я... я – мещанка города Царицына Саратовской губернии! Дед мой и отец были мещанами. А?! Выкусил! – и показала кукиш. – Я... домовладелица! У меня собственный дом! А вы? Бродяги! Ишь какие?! А я им еще самоваром разрешила бесплатно пользоваться! Масла для каши не пожалела!

– Деньги отдай, что за полмесяца взяла вперед... – потребовал Иван.

– Подавай на суд, – ответила хозяйка.

Как попало сгреб Иван свои пожитки в мешок и увёл семью из пропахшего водкой жилья.

Чуть поодаль от угла, у третьих ворот стояла женщина, делающая знаки, зазывая. Покрыта она была черным монашеским платком. Вдруг она шагнула навстречу Кате и сказала:

– Нажились?! К падшей женщине вы попали. Вон туда ступайте – к богомольной старушке. У нее отдельная комната вам найдется...

Дом, в котором жила богомольная старушка, был и по-

больше и приветливее своим видом, даже с голубыми ставнями на окнах.

– Если не жида, а православные, – сказала старушка, – сдам в наем комнату. Согласны? Заходите...

Только Иван переступил за калитку, как старушка, протянув руку к его груди, посунула назад и сказала:

– Лоб свой оксти! Крестись, говорю! – уже крикнула она, заметив недоумение на лице Ивана и усмешку в глазах Андрея. Иван видел, как подмигнул сын, намекая: «Поживем, увидим! Терпи, отец!».

– Перекрестить лбы надо всем! – командовала старушка, будто впервые дорвалась выказать, что она не абы кто, а домовладелица!

Шагнули в комнату – и опять команда:

– Аль вы бусурманы?! Кститесь!

– Кстись! – шептал Андрей отцу, сдерживая смех.

И эта старушка не обошлась без требования отдать ей сейчас деньги.

Старушка, получив задаток, сразу же указала на деревянную кровать в отдельной комнате, сказав, что ею можно пользоваться.

– Вот кровать, застилайте...

Иван, посмотрев на Катю, понял, как она устала, потому так торопливо и постелила, а свою одежду уложила в изголовье.

Старушка ушла, а Катя и Андрей думали-гадали, что еще

им придется узнать из городской жизни, совсем для них новой и странной. Уместились они у окошка, поглядывая на пустынную и неуютную улицу.

– Ни деревца, ни лужайки... – вздохнула Катя. – Сыпучий песок, пыль желтая. Сердце мое, гляди, лопнет от тоски по деревне. Там...

Она оглянулась на хозяйку, которая вернулась домой.

– А у вас, нехристи, даже одной иконки нет! – заглянула старуха в комнату.

– На дорогую икону денег нехватка, а плохонькую зачем покупать... – попытался было отшутиться Иван. Но старуха на том не успокоилась, принесла одну из своих икон. Только Иван взялся за нее, а старуха ему строго:

– Ну кто же берется за икону, не перекрестив своего лба?!

Вздохнул Иван, перекрестился. Еще раз перекрестился, когда повесил икону в углу. Еще раз перекрестился, когда отступил к столу.

– Вот вижу, – улыбнулась старуха, – православный! В дороге, поди, отвыкли осенять себя крестным знаменiem...

Ночью Иван шептал жене:

– Не выдюжим мы тут месяца прожить. Лампадным маслом все провоняло...

– Не выдюжим, – согласилась она и, вздыхая, добавила: – За два дня какие разные разности свалились на нас... А сыну вроде хоть бы что... Разлегся, распластался на полу и храпит...

– Молод, – ответил Иван, положив руку на голову, – спи, Катюша. Одолеем невзгоды... Спи, спи...

– А ты, Иванушка?

– И я постараюсь отогнать тяжкие думы... может, и усну...

На рассвете, когда старушка зашмыгала по полу, он вышел к ней и спросил:

– Куда бы пойти мне искать работу?

– Чудак-барин! – ответила она. – Уж пора идти! С рассветом в харчевне наемщики бывают. Вот и ступай сейчас. Там обхомутаешься...

– Мы втроем пойдем... Может, всем найдется работа? Там и харч!

– С Богом, родимый... Умойся, оксти лоб. Своим вели делать так! И с молитвой за калитку... По моей улице как идти, идти, идти, мимо Девичьего монастыря – в харчевню и упрешься!

\* \* \*

Молодые одинокие парни, бородатые мужики с женами и детьми, одетые в домотканые рубахи и штаны, в лаптях, а то и босые, мечтали прожить как-нибудь на берегу великой русской реки. Манила их к себе Волга-кормилица. Была она их последней надеждой.

В харчевне встречались друг с другом земляки, радуясь

встрече, надеясь, что гурьбой чего-то и добьются.

Пришел сюда Иван с Андреем и женой, спрашивая:

– Где бы тут с костромскими мужиками встретиться? – и увидел Бориса.

Харчевня!

Она, заманивая голодных запахами щей, сваренных из третьесортного мяса, шумом своим могла бы соперничать с базаром.

Стучали ложки по краям деревянных глубоких чашек. Склонялись головы над столами. Люди жадно поедали все, что приносили сами от котла. Иные, еще не дойдя до стола, отхлебывали на ходу из чашек, обжигая губы.

Борис помахал вошедшим рукой из-за дальнего стола, а затем подошел:

– Насытился, Иван? Семью накормил? Иди в нашу артель. Беяну разгружать. А? Собрали тут артель хорошую. Двоих не хватает. Пойдешь?

Андрей, услышав такое, заулыбался. Чего же еще желать? Работа сама нашлась. Иван согласился. И вся артель направилась к Волге, к Голицынскому взвозу, собственно, где бросали якорь беяны. Рад был Андрей несказанно предстоящей работе. Так и хотелось подставить спину под любую ношу. Лишь бы посылную. Да и Борис, все поглядывающий с какими-то намеками во взоре, нравился ему.

Разместилась артель позади каменного товарного склада. Борис появлялся в своей светлой рубаше, подпоясанной шел-

ковым, с кистями, поясом, то на одних мостках баржи с руднично-шахтерской стойкой, то на мостках беляны.

Наконец он пришел и сказал:

– Подрядчик как в воду канул... Будем ждать, – и опять подмигнул Андрею.

А ведь Андрею пришла пора жить своим умом, обогащаясь знаниями не из скудных запасов отца и матери.

Иван подсел к Борису, расспрашивая о том, какой будет заработок на разгрузке баржи или беляны.

– Придется разгружать нам беляну, – ответил Борис. – Беляна похожа на баржу, но только раза в два-три больше. Она в воде сидит в два раза глубже, чем баржа. Вон глянь, махина! – Борис указал на белостроганную несмоленую огромную беляну с избушками из бревен на самом верху. Избушек было две. Над каждой вилял и трепетал царский флаг. Хозяева белян без царских флагов на мачтах по Волге не плавали.

– Да, махина! Разгружать ее, поди, все лето?

– За тридцать дней разгрузим, – усмехнулся Борис. – Да-да, чтобы заработать больше.

– А ночевать где? Вона тучки находят...

– Во дворе во-о-он того дома есть где ночевать, – сказал Борис.

Да, во дворе Пуляевых была ночлежка, заведение доходное не столько получаемыми с ночлежников копейками, сколько наградными из полиции.

В ночлежке Пуляевых можно было каждый вечер встре-

тить заезжего бог знает откуда человека, узнать от него о том о сем, расспросить. Иногда тут читали вслух газеты, спорили о порядках на Руси, спорили и о непорядках, что было на руку Петру Пуляеву, тайному агенту полиции. Он старательно разжигал спор, подзадоривал разговорившихся о том, как человеку надо жить. Петр выяснял, кто же из ночевщиков недоволен порядками царя. К вечеру небо затянуло тучами, каждому потребовалась крыша. В ночлежку повалил приезжий в Царицын народ. Появился в дверях хозяин ночлежки Петр. Муж Машеньки. Нелюбимый и грубый муж.

– Ну, разлюбезные! – начал он, покручивая рыжие усы, – платить надо с каждого по две копейки... – и приступил к делу, расстегнув тугой воротник сатиновой рубашки.

Справа, сразу же за дверью, лежал на полу, прислонясь нестриженной головой к ножке нар, смуглый парень. Он только было разговорился.

– Узнал я, – рассказывал он звенящим, еще не окрепшим в спорах голосом, – узнал, что в Царицыне уйма рыбных лабазов, сто пристанских складов, три кондитерские фабрики...

– Подожди-ка, парень, – перебил его рассказ мужик с повязкой на лбу, – ты это так расписываешь, как будто узнал, что тебе от бабушки нежданно-негаданно всё это наследством привалило...

– Ну вот, – продолжал парень, – привалило! В тот час сел я на пароход...

– В каюту первого класса! – рассмеялся кто-то.

– Сел, значит. Спрятался в куче старых канатов, и прощай, Саратов-вороватов! – парень улыбнулся, оглядывая всех. – Н-да, саратовцы, провожая меня, говорили, если, мол, погулять захочешь, то в Царицыне есть где. Что ни угол – пивная аль трактир с бильярдом. В купцы, мол, если выскочишь, спешу в сад «Конкордия», там певицы голыми ножками траля-ля выплясывают. Езжай, мол, парень! И вот он я, тут как тут! – парень при этих словах привстал, отдал Петру две копейки за ночлег.

– На побаски-сказки ты гош! Тебя бы в управители Россией! – усмехнулся Пётр.

– С такой-то Россией, какая она есть нынче, и дурак управляется! – ответил парень и почему-то глянул на Андрея, будто ждал одобрения. Борис многозначительно тронул Андрея за рукав: «Не вмешивайся, мол, в разговор». Андрей схватился за локоть Бориса, сдавил со всей силой.

Вдалеке, где-то за бугристыми голыми, обожженными солнцем холмами всё ярче и ярче вспыхивала молния. Глухо накатывались из донской степи, всё приближаясь к Волге, раскаты грома. Но вот вспышки молнии, учащаясь, осветили черные тучи. Они, казалось, были неподвижными, тяжелыми. Под светом молнии они клубились, переворачивались, втискиваясь туча в тучу, становясь сплошной чернотой и стремительно летя на восток, опускаясь всё ниже и ниже над городом, сваливаясь на него из-за холмов.

Гром слышался всё более грозным. Вот уж и над самим городом пронеслось с десяток молний: там, тут, поодаль. В ночлежке стало видно, как днём.

– Свят, свят, свят. Сохрани и помилуй, Господи, грешных, – шептала Катя.

Иван толкнул её легонько локтем в бок:

– Помолчала бы... Ведь, глядя на тебя, опять ночевщики разведут туры на колесах. У них разговоров на сто лет, а всё по-пустому...

В минутной тишине вдруг снова со страшной силой грохнул, сотрясая землю, гром. Ну, вот прямо над крышей. И еще сверкнула молния. Ещё гром, гром безостановочный, накапистый. С треском разорвалось на клочки всё небо. И стихло. Зашуршал ливень.

Пётр сидел, склоняясь над кухонным столом, и писал донос, изредка посматривая на струи дождя, набрасываемые ветром на стекло окошка, на струи, обильно стекающие по стеклу. Днём всегда из этого маленького окошка наблюдали за ночлежкой, пользуясь еще и театральным биноклем в перламутровой оправе.

– Ну как? – спросил Семен, появляясь на пороге, шмыгая по полу кухни чувяками, – есть толк? Сазаны есть? Или одна плотва? Эх, хоть раз споймать бы, – вздохнул, – белугу бы! Сбежавшего из Петербурга, скажем, белоручку из этих самых, как Софья Перовская! Вот бы и в гору вымахнули бы тогда мы, Пуляевы.

Пётр закончил писать. Вынул из кармана револьвер, даренный за многолетнюю службу в полиции, проверил, нормально ли заряжен, и снял со спинки стула свой пиджак, намереваясь отправиться к приставу, не ответив отцу на его вопрос о том, а сколько бы полиция заплатила за «белугу».

Пётр мечтал, как бы поскорее сгрести в охапку отцовские деньги. Тогда он начнет свою новую жизнь. Какую?

Сунув написанное за голенище, Пётр ещё раз глянул в окно, прикрутил фитиль лампы. Накинул на плечи пиджак.

– Запрись! – сказал отцу и вышел на крыльцо.

Ветер свирепствовал, замахивая струи дождя в открытую дверь сеней. Но вот отец щёлкнул задвижкой. Пётр надел пиджак, застегнул все пуговицы, шагнул навстречу ветру и дождю. Пригнув голову, он побежал вдоль улицы.

Мария, заметив, что у Семёна на кухне потушены лампы, крадучись вышла на крыльцо. Оглядела двор.

– Господи, помоги мне, – шептала она, перебегая под дождём через двор к дверям ночлежки. Там она во тьме тронула кого-то наощупь и спросила:

– Не Борис ли, а?

Тот, кого она тронула за плечо, пробормотал что-то, не просыпаясь.

– Что надо? – отозвался Борис, угадывая голос Марии.

– Выйди ради Христа...

Борис еще не спал, ко всему прислушивался, приглядывался, даже во тьме женскую фигуру, возникшую в дверях,

он сразу же увидел. А голос Марии припомнился тоже сразу. Он вышел за порог ночлежки. Мария, увлекая Бориса под навес сарая, шептала:

– Чего расскажу-то... Не осуди меня, Борь!

– Узнала-то как, что я тут?

– Может, кто другой, когда ты шёл по двору, и не узнал бы тебя, а я с детства, ведь, Борь, глядела в твои глаза. Ведь я бывало...

– Чего нам, Маша, теперь-то старое вспоминать... – не без волнения проговорил Борис, желая скорее закончить свидание с чужемужней.

– Тут и старое, и нонешнее, – шептала Мария, схватив Бориса за рукав, заметив, что он уйти хочет, – послушай, Борь!

И рассказала, как ей пришлось стать женой вдовца.

– Это всё старое, а вот новое: Пётр побег в полицию, пускай уходят из ночлежки беспаспортные, беглые там с каторги аль ещё какие, до кого у полиции интерес. С рассветом жди сюда полицию... А ты давно ли в Царицыне? Чего бы тебе не прислать за мной Димитревну? Может, мы её увезем на Кубань аль в Задонье? Деньги у Петра я знаю, где лежат. И у свёкора все тыщи прихвачу с собой, а?

– Вон оно что! За предупреждение, Маша, спасибо. Чужие деньги мне не нужны. Иди в дом. Дрожишь вся! – и, зная, что обманывает Марию, пообещал позвать её при удобном случае. – Но ты ни гу-гу на улице, что я беглый солдат.

Тебе я не страшась говорю. Небошь старое мое добро помнишь. А если полиция меня схватит, в кандалах погонят аж в Сибирь. Иди!

Мария вышла из-под навеса сарая не спеша, без охоты вернуться в дом. Тяжело как-то шла через двор, до крыльца. В сенях она остановилась, прижала руки к груди, поглядывая через открытую настежь дверь, как льёт дождь, слушая, как он хлещет по стеклу окошка и ручейками журчит через весь покатый к воротам двор.

Когда Борис снова прилег на пол и оперся на локоть, чтобы видеть двор, уже чуть светало. Видно было лишь серо-синюю пустоту в раскрытых настежь дверях. Со двора веяло последождевой прохладой. А еще десять минут – и в рассвете стало видно по всему двору. Вот торопливо, с оглядкой на ночлежку прошел Петр. Он выругался громко, попав ногой на середине двора в яму, вырытую боровом и заполненную теперь дождевой водой. Очищая грязь с лаковых сапог, оставляя на железной скобе у порога комки глины, он все еще матерился.

Борис понял, что Маша не обманула.

– Друзья! – воскликнул Борис, закрыв двери ночлежки, чтобы Петр не слышал. – Милые друзья, скитальцы на русской земле, айда отсюда! Если нет паспортов. У меня хоть и есть паспорт, но я не охотник на свидания с полицией! Я пошел! – и нечаянно наступив на деревянную костромскую чашечку с золотым ободком по краям, раздавил ее. Оттолк-

нул ногой.

Он не пошел к калитке, а перебросил свой зеленый сундук через забор. Перемахнул и сам. Вслед за ним еще трое.

Во дворе появилась полиция.

В ночлежке околоточный надзиратель кричал на Ивана:

– Лапоть! Живей давай паспорт!

Иван никак не мог выдернуть нитку, которой он пришил свой паспорт.

Стволом револьвера околоточный ткнул в бок мужику с повязкой на лбу:

– Оглох?! Паспорт!

– На погрузке пшеницы в баржу я споткнулся и паспорт обронил в воду... – взмолился мужик.

– Взять его! – приказал околоточный полицейскому, словно борзой собаке, крикнул, будто на охоте в лесу, где что ни огляд, то волки серые: – Взять!

И взяли. Не упустили. На такой охоте – чего проще, хоть полицейский и был чуть ли не карликового роста, однако оказался до удивительного проворным. Он мгновенно, как-то невидимо для всех, накинул наручники мужику.

Кто-то из ночевщиков, рослый и плечистый, в суতোлке задел локтем форменную фуражку низкорослого полицейского, сбив ее на пол с его головы.

Полицейский освирепел было, но тут Иван поднял с полу фуражку, смахнул с нее локтем грязь, подумал, помахал в воздухе и вручил хозяину, сказав:

– Эх, какой чуб! В Маньчжурии я видел такой чуб на командире казачьей сотни... Донские там казаки рядом с нами сражались супротив японцев...

Околоточный надзиратель не мог не заметить почтительность Ивана, а прочитав в его паспорте все, там написанное, спросил:

– Сын и жена приписаны в твоём паспорте, где они?

– А вот и они... – улыбнулся Иван.

– Эх, дядя! Сам приехал, да еще хвост за собой поволок!

Жил бы в деревне...

– Голодно мне там с моей семьей... На заработки я сюда с сыном-то... Он вон какой! Рослый!

– А отчего ты одноглазый?

– В Маньчжурии ранен...

– Ничем не могу помочь... – сухо произнес околоточный. – Мне тут с сезонниками летом одна маята. Вас тут летом десятки тысяч!

Арестованных увели... К околоточному спешил высоченный тонконогий, как на ходулях, полицейский.

– Четверо сбежали, ваш благородь, не успели мы за ними...

– Чего?! Не успели??? Ты знаешь, что за это всем вам, ротозеям, будет? – свирепел околоточный, весь краснея.

– Куда же теперь нам? – спросил Иван.

– В другую ночлежку... – ответил Андрей, подхватив мешок с пожитками. – Работу искать я теперь пойду.

Но, к удивлению, под брезентовым навесом увидели Бориса и почти всех артельных рабочих.

– Ходи веселей! – зазывал Борис. – Нечего горюниться! – утешал он, а потом спросил Ивана: – Не возьмется ли твоя жена кухарничать в артели? С базара сейчас принесут провиант: требушки, печенки, картошки. Сложилась мы сообща. За безденежных свои вложил. Одолжил, словом. За труды артель платить будет. А харчи бесплатно...

– Возьмется, а чего же! – обрадовался Иван.

– Вот и хорошо, – улыбнулся Борис, – вон, видишь, – он указал на склон оврага: – там очаг уже кладут из битых кирпичей.

Борис нет-нет да и подойдет к очагу.

– О! Аромат! Вот так варево! – восхищался он, трогая дружески за плечо Ивана, – мастерица варить харчи для артели твоя жена. Как зовут-то ее?

– Катериной зовут... – гордо ответил Иван и, с какой-то горечью вздохнув, вытер тряпкой глазницу, в которой когда-то был зоркий глаз, потерянный в далекой Маньчжурии.

– Было бы из чего, эх, каких бы пирогов нам наварганила.

Я так думаю, что одними слюнками захлебнулись бы мы с тобой. Хорошо готовит она мясные пироги.

– А мне кажется... – загадочно сказал Борис, – Катерина еще нас с той не один раз угостит мясным пирогом. Истинный Бог, угостит. Придет такое времечко. К тому все идет.

Иван опять вытер глазницу, разглядывая Бориса. А он обнадеживающе произнес:

– Довелось мне слышать, что есть на Руси большевики. Они не о пирогах только заботятся на каждый день, а заботятся еще и о том, чтобы просветление в умах мужиков деревенских проблеснуло. Вспыхнуло бы, как молния вспыхивает... Но ни на минуту затем не сгасло бы...

А тут беседу прервала Катерина:

– Хлёбово готово! Мясо всё на порционной доске! Буду резать. Кто-то помогать будет? Как делить-то? Столько мяса я ещё во всей жизни своей не делила. На сколько ртов-то поровну?!

Когда артель пообедала, артельный сказал громко, что пойдет к подрядчику:

– Баяров там будет расплачиваться с грузчиками за разгрузку баржи... А я договорюсь о работе на беляне...

Андрей, поосмелев, сказал, что ему хотелось бы поглядеть улицы, городской народ. Может, там где ламповое стекло можно купить...

Трактир «Орел» выделялся свеженькой побелкой. Одноэтажный трактир этот всегда был виден еще издалека, если

перед входом валунами желтел песок, который нагонялся к крыльцу ветром, дующим тут, будто назло хозяину трактира, – все с одной и той же стороны – из-за Заволжья. Из Прикаспийской низменности. А такие ветры и такой песок разве только одного хозяина трактира «Орел» злили? Каждому горожанину ветер этот, несущий засуху и пыльные бури, был не к радости.

Артель грузчиков, разгрузив баржу с шахтерским лесом и ствольной стойкой для шахт, подходила к дверям трактира весело, приплясывая, взметая песок, под залиvistые звуки голосистой саратовской гармошки, на которой играл Семен, приглашенный, как и всегда, подрядчиком Баяровым, который говорил:

– Я деньги платить буду, – и, крикнув, чтобы отплясывали веселей, продолжил: – Не должен рабочий люд забывать веселье!

Артельный, Андрей вошли в трактир вместе со всеми. Там для Баярова поставлен был стол, накрытый льняной скатертью с золотой бахромой, а не просто клеенкой. Подрядчик разложил деньги.

– Не шумите, голова болит, – и, выдав заработок, приказал артельному: – Наливай ему, как положено!

Выпив водки, грузчик пересчитал на ладони деньги. Баяров заметил это, возмутился:

– Меня проверяешь?! Не приходи ко мне на работу. Мне таких не надо!

– Господи, – взмолился грузчик, – верю вам. Вот те крест! В месяц ведь один раз доводится деньги считать. Сердцу лестно это...

– Веселый тут?! – продолжал выкрикивать Баяров. – По-лучай!

– Гришка-чемпион?! Па-а-аадхади!

Предрассветная синева окутывала Волгу. Случилось так, что ни пароходов, ни барж, ни плотов не было видно плывущими по широкой реке. Будто все замерло в каком-то таинственном ожидании то ли шторма, то ли бури.

Любил Борис в ранний час бывать поближе к воде, слушать ее переплеск, угадывая отзвуки, будто донесшиеся из дальних веков. Словно музыка, чуть заглушенная временем, струилась в плеске воды, нашептывая что-то ласковое.

Любил Борис встречать зори, когда на берег Волги долетают отдаленные звуки просыпающегося города: гудки заводов, фабрик и колокольный звон, вплетающийся в хлесткие удары кинутых в штабель досок, вынесенных на берег вон с той разгружаемой баржи.

Сбросив с себя одежду, Борис не спеша вошел в воду по грудь и, сильными взмахами рук одолевая течение, поплыл к беляне. Минутным делом было взобраться по мочальному канату на дощаник, а с него, по канату же, на беляну, чтобы осмотреть груз: не промахнуться бы, нанимаясь, не продешевить бы деньщину.

Оглядев груз на беляне, Борис нырнул с высокой кор-

мы, скрылся под водой и не скоро появился на поверхности. Семь саженой пролетев до воды, он на пять саженой ушёл до дна реки, а оттолкнувшись там от песочка, вынырнул, озорно хлопнув обеими руками, словно обнимая, наваливаясь грудью на синюю зыбь реки, потревоженной им.

Подрядчик тоже с рассветом появился на берегу, чтя заповедь «Кто рано встаёт – тому Бог подаёт!».

Он уже обошел свои владения, когда артель встретила его. Он чуть ли не на ощупь попробовал каждого из артели и сказал, указывая на Андрея:

– Парень хоть и широк в плечах, но под пластиной за весь день уходится так, что назавтра сляжет...

– Это мой сын. Он выдюжит... – робко сказал Иван, глядя на лаковые сапоги Баярова, на золотую цепочку, сверкающую на коричневой шелковой жилетке.

– Так-так... Сын! Я ему найду дело...

– Ну а ты чего тут с одной гляделкой? В драке вышибли? Тоже не гош. Таких мне в артели не надо...

Иван оторопел, тиская в руках картуз. Страшным казалось ему лишиться каждодневного заработка на разгрузке беляны.

– Как ты, одноглазый, по мосткам с ношей пойдешь? – продолжал Баяров. – Кувыркнешься!

– Напраслина это, – вступился за Ивана Борис. – Мы с ним не первый год напарники. Грузчик хоть куда!

– Может, и рябых гнать из артели?! – зло спросил кто-то.

– Он Россию от япошек защищал. Микаду из Маньчжурии гнал, а тут гонют от работы...

– Тихо! – взмахнул рукой Баяров. – Мне и дома надоели аккорды! Сядет дочь за пианино – весь дом трясется... хоть беги. Про рябых речи нет! Слепых со зрячими, говорю, не надо путать! – злился Баяров. – За всех артельный в ответе! Тридцать девять молодцов, говоришь, у тебя? – Баяров положил руку на плечо артельного. – Нормально...

– Нормально сорок человек... – возразил артельный и указал на Андрея: – Он сороковой... Если где-то будет еще у вас работать, так не за счет артели, а?

– Сорокового подыщите, – улыбнулся Баяров, – парню я буду платить отдельно... Разгрузить беляну за тридцать дней. Хоть за неделю управляйтесь – плачу за тридцать дней... И водки еще буду давать.

– Готовьте мостки! На Волге работать и жить, а водку не пить? У меня тут, на моем берегу, не девичий монастырь. Я хозяин тут!

Он распахнул чесучевый пиджак, сунул руку во внутренний карман.

– Ну, ты! – повернулся он к Андрею, – угоди артели! Беги за водкой!

Баяров всех оглядел. Торжество в его глазах так и светилось – ведь у него деньги в руках... А поэтому ясно: быть в руках и всей этой артели!

– Две четверти купишь! – командовал он Андрею. – Нести

будешь – гляди под ноги. Глаза-то у тебя, парень, смышлёные. Читать-писать умеешь?

Андрей кивнул, всё ещё оценивающе разглядывая подрядчика, словно впервые увидав перед собой человека в дорогом костюме, при жилетке, при часах.

– Будешь у меня работать... – продолжал Баяров, – на плотах бревна клеймить. Беги!

Кривыми переулками добрался Андрей до казенной винной лавки на Княгининской улице и вскоре вернулся.

Борис, работая рядом с Иваном, удивился тому, как в его руках топор мелькал, словно игрушка детская, будто не бревно тесал, а воду рубил. Да и вся артель усердно и быстро налаживала мостки на белостроганную беляну, ставила козлы, настилала сходни.

По мосткам на беляну первым вошёл Баяров: с виду сердитый и чем-то недовольный. Первым он выпил стакан водки. Так повелось в Царицыне издавна. Сохранялся давний обычай. И водку распили по обычаю в пролете беляны. Тут же, на сквознячке, улеглись спать, чтобы с зарёй начать разгрузку беляны, не тратя время на сборы.

Назавтра Пётр Пуляев ходил по пятам за своим хозяином, ведя белолобую лошадь под уздцы. Баяров сказал ему:

– Смутьянов нет, все работяги, артель способная. Тебе тут делать нечего. Наглядывай иди за погрузкой в вагоны шахтерской стойки. Телеграмма у меня есть – на шахты срочно нужен рудничный лес... – и кивнул Андрею: – Пойдём со

мною, старательный!

Петр спросил подрядчика:

– Старшой артельный предьявлял паспорт?

– Угу...

– Кто он буде? Мещанин? Имя, отчество, фамилия его?

Баяров ответил:

– Отстань, надоел ты мне.

– Паспорт у него не поддельный?

– Эх, Петро, в рыло дать тебе? Меня идиотом считаешь?! – огрызнулся Баяров. – Иди надсматривай за погрузкой рудничной стойки...

Пока Баяров шел к плотам, всё время расспрашивал Андрея о том, где он жил, когда приехал в Царицын, сколько лет учился, работал ли.

– Эх, парень! У тебя, оказывается, жизнь тяжело шла. Ну знай, если мне угодишь – в люди выведу. И невесту с приданным найду. А вон, глянь, плоты расчелёнили. А вон Егорка. Он укажет тебе твои обязанности – бревна клеймить, замер делать. Извозчиков тут – сто! За каждым гляди. Неклейменого бревна в гору не выпускай. Вертким надо быть...

Андрей выслушал внимательно и Егорку, приступая к работе. Часа два работали вместе. Андрей успевал и замер делать, и клеймить.

Егорка, покуривая, ушел развлекаться. Он на долбленной лодочке до вечера катался, чуть шевеля веслом. Надсматривал за рабочими, оценивая их старательность.

Незаметно для Андрея прошел первый день работы. На берегу Волги становилось все тише, тише. Смолкли голоса рабочих, возчиков, мальчишек-подкаряжников. Лишь изредка слышалось откуда-нибудь протяжное:

– Ребята, шабаш!

– Шабаш!

А над притихшими улицами – Каширской, Ковровской, Дубовской – звонкоголосо летел с татарской мечети призыв муллы к вечерней молитве:

– Аллах бисмирле!

Андрей хоть и устал, напрыгался за весь день по бревнам, но окончание работы показалось ему неожиданным.

– Клеймилку бери домой! – начальственно приказал Егорка. Андрей понял, что речь идёт о молотке, которым он клеймил брёвна, выбивая на каждом из них две буквы: «Г. Л.», что означало, бревно принадлежит Глебу Лужнину.

– В церковь ходишь? – спросил Егорка, прищуриваясь.

– Не-е-е! – ответил Андрей. – Мне с отцом надо работать... – и не присел на бревно рядом с Егоркой, хотя тот и приглашал.

– И для работы будет время, и для церкви надо уделить час, – продолжал Егорка, – татары вон по три раза протягивают руки, просят Аллаха даровать им власть над русскими. Работу бросают и молятся. Поэтому мы и не берем татарву на работу. У тебя дело спорится. А меня переводят в главную контору Лужнина. На берегу мне теперь делать нечего.

Так-то!

– Что, собственно, ты от меня хочешь? – обозлённо спросил Андрей.

– Помочь тебе хочу, а от тебя – дружбу. Могу подарить тебе кое-что. Брюки подарю, чтобы ты стал похож на городско-го. Мы с тобой тогда ходим в «Союз архангела Михаила».

– Еще чего! Куда ты лапотника-то зовёшь?! А на все, что надо, я сам себе заработаю...

– Вон какой ты! – скривил губы Егорка. – Хорошо, что не брехун, не хитришь. А я думал, что ты захочешь в добротном построенном доме жить... А надумаешь – приходи. Постучи в окошко. Вон наш дом-красавец на бугре. А тут меня не жди. Мне так противны все эти береговые, босяки-сезонники!

...Хорошо в тёплые ночи на сплотках, под мостками-сходнями беляны. Нет ни комаров, ни мошкары, отгоняемых сквознячком. Убаюкивающе журчит бегущая вода, наталкиваясь на бревна оплоток.

– Егорка зазывал меня к черносотенцам... – говорил Андрей Борису.

– Егорка и Петр – водяные из омута! – рассмеялся Борис и добавил: – Сторонись их.

– Сторонился и раньше, когда мы с отцом баржу с пшеничной мукой разгружали. Черносотенцы ко мне липли, как мухи к мёду...

– Хорошо, что знаешь их, – улыбнулся Борис, – давай-ка

на сон грядущий искупаемся... – и стал раздеваться, как и многие грузчики.

Все они вдоволь поплавают около сплотов, нанырятся, смывая волжской водицей усталость, солёный пот с натруженных спины и плеч, и начнут стелить старенькие одеяла, а кто и рогожу.

А Волга журчит и журчит.

Слышь, пошли среди грузчиков весёлые прибаутки, шуточки. Вон положил один из сезонников доску, изловчась, чтобы она прогибалась, и, покачиваясь на ней, говорит:

– Я навроде в сад к нашей помещице прокрался и в гаймаке покачиваюсь. А у барыни в округе нашего уезда земли сорок девять тысяч десятин. Тыщ! А не сотен. Откуда ей привалило? А у меня? Во, сколько!

Он показал кукиш – черный, заскорузлый. Сразу стало ясно, что в деревне мужик был сапожником.

– А зимой? В кулак подуешь, на вокзале переночуешь...

Перестав качаться на пружинно гнущейся доске, грузчик вздохнул:

– Доколе жить-то так будем? Ну, чем мы перед Богом грешны? Трудимся, не ворует, ближнего не обижаем. Закон это Божий? Земли в России столько – сколько неба над нами. А мы скитаемся! Эх, пахать бы, сеять! Хлебушко для себя и народа выращивать. Эх, вот бы пожить, не зная голода. Не дожить до таких денёчков... Не дожить?!

Борису хорошо известно, откуда съехались мужики в Ца-

рицын. Кто из них кто. Имена их записаны в алфавитной книжке, купленной для заметок о заработке каждого на разгрузке беляны. Все они мечтатели из деревень: один мечтает заработать на покупку коровы, другой хочет купить себе лошадёнку немудрящую, что подешевле, третий – выпрямить скособоченный, готовый рухнуть дом в деревне. И лишь одна у всех одинаковая мечта – землицы бы десятину купить...

Поговорят они об этом перед сном, и замечает Борис, как затухают в их глазах несбыточные эти мечты.

Многим из них не вернуться домой, к женам, отцам, матерям, к своим детям.

А все же мечтают. Помечтают и уснут, намаявшись за двенадцать часов непосильного труда.

Просыпаясь, они не рассказывают друг другу снов. Не видят их. Грузчики спят крепко. Спят как убитые.

О земле на сплотках разговору было много. Борис рассказывал, что будто доводилось ему то под Вологдой, то под Котласом слышать от политических ссыльных о программе эсеров, программе большевиков: отнять землю, отобрать...

– Эх, отобрать?! И мужикам в деревне раздать!

– Было такое дело... – ответил кто-то. – Степан Разин хотел, да на плахе голову сложил...

– Верно! Какая у нас сила? У помещиков-то полиция, войско! – слышались голоса сезонников-грузчиков.

– Царь всё видит, всё знает. Он – сила!

– А вот я о чём скажу... – сердито произнес Борис. – Сила

у царя, заступника фабрикантов и помещиков, – это же мы с вами! Ведь нас в солдаты берут! Вот она и сила. Сила в нас самих. Большевики и поведут эту силу для установления народной власти.

После таких разговоров Бориса иногда будили по ночам двое-трое, все допытывались о подробностях. Иногда и за ужином начинали спрос:

– Вернёмся в деревню и как там говорить? Таясь аль открыто?

– Зачем же открыто, если полиция вокруг? Тайно надо готовиться к завтрашнему дню открытой борьбы... Силы собрать нужно, – отвечал Борис.

– Кабы солдаты заодно пошли с мужиками деревенскими... – помечтал один из грузчиков.

– Пойдут! – уверенно отвечал Борис. – Каждому новобранцу там, в деревне, указывайте о том, что надо бороться за свои права...

На сплотках появился неизвестный мужичок.

– Братцы, товарищи... – заговорил он, – приняли бы вы меня в вашу артель, аль она у вас сполна?

– Один нам ещё нужен... – ответил Борис, давно зная, что так полиция подсылает своих агентов. – Откуда родом? – и разгадав пришельца, сдавив кисть его руки, спросил: – Кто подослал? Удавлю! Утоплю! Если ты играть намерен! Ну?!

– Петр Пуляев... говорю... он самый... – затрясся в страхе пришелец.

– А зачем?

– Велел поработать в артели сколь удастся, узнать настоящую фамилию артельного старшого...

– А то он не знает!

– Говорит, что старшой в артели скрытный человек. Может, и каторжанин... Беглый...

– Дурак он, твой Петро Пуляев! Не юли! Что Петро еще велел?

– Напоить кого-нибудь...

– Ох ты! – рассмеялся Борис. – Оказывается вы оба изпод угла мешком пустым охлопнуты... Пылите оба! От пьяного ведь можно сто фамилий услышать! А ещё что? Что еще приказывал тебе Петро Пуляев?!

Андрей, заметив в оттопыренном кармане пришельца рукоятку револьвера, изловчился выхватить.

Борис, скрутив пришельцу руки, сказал Андрею:

– Обыщи тщательнее... Нет ли у него ещё и ножа...

У пришельца в карманах ничего не оказалось, кроме носового платка, в узелке которого были завязаны две золотые десятирублевки.

– Отдай деньги, – просил пришелец, – Христом прошу, отдай. Я немедля уеду из Царицына. Мне теперь к Петру явиться нельзя. С меня он спросит ливальверт. Он ведь, Петро, дал ливальверт и денег дал на пропой.

Притиснутый к брёвнам пришелец ползал по-змеиному и плакал.

– Крыса в капкане! – сказал кто-то из грузчиков.

– Деньги просит вернуть...

– Не убить ли он явился... Волгаря убить! А? – раздались

возгласы.

– Утопим его, братцы!

– Христом Богом прошу, – молил пришелец, протянув руку, поглаживая ногу Бориса. – Ливальверт просто для смелости я сам у Петра выпросил.

– Ногу мою не облизывай, Иуда! – прикрикнул Борис, – дурак! Револьвер выпросил! Тварь ты поганая! Не верну! И деньги не отдам. Раздам сиротам... этот твой заработок!

– А на билет из Царицына?

– Пешком топай! А хочешь – облегчу твой путь. В Волгу-матушку с камнем на шее... Хочешь?! – сказал один из грузчиков.

– Отпусти Христа Бога ради... Отпусти. Каюсь ведь!

– Отпущу! – глубоко вздохнул Борис. – Но только ты побывай еще разок у Петра Пуляева. Целуй у него икону и скажи, что мы артеlem отобрали у тебя револьвер, который я отнесу в полицию и прошение подам приставу, чтобы Петр на убийство не искал наёмников. Ему от царского суда не открутиться! Артель ему не простит! Так и скажи Петру! Запомнил? Ну, то-то! Считаю, что деньги, выданные тебе на пропой, пропиты... – Борис рассмеялся: – Пропиты сиротами. Им я деньги отдам. Вот и попьют молочка вволю! Ну, брысь отсюда! – Борис под зад ткнул пришельца пинком.

Было над чем посмеяться всей артелью.

Разговорились было о происшедшем, но артельный сказал:

– Спать пора, товарищи! Пора, пора! Вы спите, а я ещё огляжу тут всё вокруг.

Груня и ее отец стояли около лабазов рыбных пристаней.

Все стежки-дорожки исхожены тут давным-давно, еще в детстве и юности Бориса, каждый лабаз знаком, все погрузочные и разгрузочные площадки, с их увековеченным просоленным запахом сазана, леща, судака, сома, сушеной таранки, осетра, севрюги, белуги.

Под подошвой сапога, ботинка ли, лаптя ли бегут ручейки, утекающие из неисправных бочат, кадушек, бочек, ручейки бегут тuzлучные, с явными блестками кристаллов комковатой соли, там и тут слежавшейся.

Плывут солянистые запахи в самом воздухе тугими струями, опять же дурманящие чем-то отдаленно знакомым, осетровым, севрюжным.

А пароходные на Волге, а паровозные гудки на двенадцати рельсовых путях станции Волжской, деповские гудки – все такое же, как и в детстве, куда-то зовущие, куда-то провожающие.

Хоть уж и поздний час, а вся береговая линия железной дороги Царицын – Калач – Дон от паровозного депо, грузовых пристаней до Балашовского взвоза, до городских пассажирских пристаней живет шумом, гомоном: снуют маневро-

вые паровозы, подгоняя вагоны под погрузку; грузчики безбоязненно подныривают под вагоны составов, готовых тронуться в путь. Перебегают от стрелки к стрелке с зажженными фонарями в руках составители поездов и стрелочники, дудящие в медные рожки. И нет ничего подозрительного в том, что вон двое – Степанов и Груня – стоят у самого края товарной площадки, как бы любуясь Волгой, огоньками бабенов и сигнальными фонарями на мачтах пароходов.

Ничего подозрительного нет и в том, что к ним подошел Борис. Он тоже любит Волгой. Вон как размахивает руками, указывая на появившуюся вдруг чью-то парусную лодку, вынырнувшую прямо перед пароходом. Борис и Волгой любит и рассказывает о происшедшем в ночлежке, о разгрузке беляны и о том, что в паровозном депо кочегары, слесаря, стрелочники объединились в подпольный кружок, который так и называли «Кочегарка».

– Это хорошо... – одобрил Степанов, – но тебе это не под силу. В «Кочегарку» другого пошлем. Обсудим у меня дома в воскресенье...

– Я еще не обо всем рассказал, – заторопился Борис, заметив, что Степанов намерен на том и закончить встречу.

Груня и ее отец приостановились, и Борис рассказал, как смело поступил Андрей, выхватив револьвер из кармана у провокатора.

– Интересная личность... – задумчиво произнесла Груня. – Ишь, какой смельчак! Жду личного знакомства с этим

Андреем.

– И я жду не менее, чем ты... Ведь не каждый час нам удастся знакомство с настоящим человеком, – улыбнулся Степанов, протягивая руку Борису. – Приходите, ждем!

– Ждем! – сказала Груня, – в воскресенье ждем тебя, Борю, с Андреем... Почаевничаем... – и побежала догонять отца.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.